

Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы.

Том 2

Автор:

[Валентин Пикуль](#)

Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 2

Валентин Саввич Пикуль

Океанский патруль #1

Великая Отечественная война – на море!

Здесь сражаются и против врага, и против беспощадной стихии.

Здесь – ТРУДНЕЕ и ОПАСНЕЕ, чем на суше... И важно помнить одно – каждого из героев Северного флота помнят и ждут на берегу.

Это – «Океанский патруль».

Первый роман Валентина Пикуля.

Одна из лучших военных саг XX столетия!

Валентин Пикуль

Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 2

* * *

© Пикуль В. С., наследники, 2011

© Пикуль А. И., составление, комментарии, 2011

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Глава четвертая

Шхуна

Русский Север не знал крепостного права. В поморских деревушках рождались сильные добродушные гулливеры, которые с малых лет приравнивались к схваткам с океанской стихией. Море стояло рядом. От скрипучих мостков рыбацких становищ уходили далекие пути на Матку (Новую Землю), на Грумант (Шпицберген), в Гаммерфест, Вадсе и Вардегауз. Требовались крепкие корабли, чтобы побороть осатанелый напор волн.

И одним из таких умельцев, кому от предков перешел дар корабельного мастерства, был Антипка Сорокоумов.

Всегда праздничный, остроумный, языкастый, он был приветлив со всеми, каждому помогал в беде; ладил звонкие, как гусли, ладьи и шняки; и корабли, сработанные его руками, отличались удивительной мореходностью.

Но никто не знал, какая тоска гложет сердце молодого корабельника. Может, одна только ненаглядная Поленька из Сумского посада, которой он дарил платки да чашки фарфоровые, и знала это, да никому не говорила. Был Антипка волен, как птица морская, но тяжела была его воля.

Корабельник чувствовал, что его руки способны сделать еще многое, перед глазами стояла красавица шхуна с раскрытыми бабочкой парусами, и этот живой образ красавца парусника преследовал и томил Антипку несколько лет. Он не умел читать и писать, не знал математики и геометрии, корабли создавались под песню, на глазок, потому что он был подлинным мастером, недаром звали его – Сорокоум.

И однажды, взяв подряд ладить шхуну для купцов Лыткиных, он решился. «Верите мне?» – спросил. «Как тебе не верить, перед тобой, что перед Спасом!» – ответил богатеи-рыбник. «Тогда лес давайте добрый, лиственницу; сроками не торопите и надо мною не ломайтесь, не то совсем делать не стану; я мастер, мне это не от ваших целковых дано!..»

И, говоря Ирине Павловне, что первый чертеж шхуны был нанесен им на снегу, Антип Денисович не лгал: прутиком нарисовал он шхуну, какой она снилась ему все эти годы, и начал строить. Успели только обшить борта, когда весеннее солнце растопило снег и смыло план корабля в море. Но шхуна упрямо тянулась мачтами к небу, а когда сошла со стапелей и скрылась вдали, Антипка бросил топор в волны, упал в траву и заплакал: «Не было такого корабля на свете, нет и не будет!..»

* * *

– Да ты ешь, ешь, – говорила тетя Поля, горестно подпершись рукой, – старенький ты стал, Антипушка, а лицо все как у младенца, румяное да чистое...

Последнее время Полина Ивановна частенько наведывалась на шхуну, узнав, что на ней появился Антип Денисович. Получив капитанскую фуражку и восемь тысяч рублей рейсового задатка, старый шкипер заважничал.

– И откуда у тебя эта спесь берется? – говорила тетя Поля. – В молодости ты не был таким... Ну-ка, сымай рубашку-то, я тебе ее постираю. Да и на бахилы заплатки поставить надо... Сымай!..

Сорокоумов принимал заботу о себе как должное. Прошло много лет, не писали друг другу писем, у него уже выросли дети, а вот при встрече снова пробудилась между ними старая дружба. Зная, что за работой Антип Денисович

забывает обо всем на свете, тетя Поля иногда приносила ему в авоське обед: покушай, мол, Антипушка... Шкипер ел много, по-стариковски бережнонося ложку над краюшкой хлеба, и никогда не мог есть молча.

– У русского человека, – говорил он, – песня что веноч, а стих что цветок. Сторона-то наша, чего уж греха таить, студеная да ветреная; близко мы к морюшку сели, что в нем упроемыслим, то и наше. И корабельное ремесло мы с давних пор изучили... Вот я, к примеру: неученый человек, а кораблей за свою жизнь наладил с тыщу – много! Сколько уже при советской власти спустили их на воду, все колхозы мне мотоботы заказывают. Ан все едино, люблю эту шхуну, да и только! Я в нее душу вложил, весь талан свой. И строил ее не по аглицкому манеру, а как мне сердце мое подсказывало... Вот и ходит она у меня по морю, словно огонь по соломе!..

Когда тетя Поля уходила, шкипер снова вылезал на верхнюю палубу. Одет он был в брезентовую робу, насквозь пропитанную охрой и резиновым клеем. Капитанская фуражка, о получении которой он беспокоился заранее, лихо сидела на его голове, потеряв новизну в первые же дни службы. Лукавые глазки шкипера влажно поблескивали, а маленький носик краснел от чего угодно, только не от мороза. Рябинина как-то сделала Антипу Денисовичу замечание по этому поводу, но он не обиделся, а мирно ответил:

– Верно, дочка, вино на судне – гибель, а без него тоже тошно. Но ты не бойся: в море как выйдем, я все винище за борт вылью, потому что дисциплину понимаю. Буду шубой греться, дочка.

Ирина Павловна называла шкипера не иначе как по имени-отчеству, но Сорокоумов, кто бы ни присутствовал при разговоре, все равно крестил ее дочкой. Главный капитан рыболовной флотилии уже предупреждал женщину, чтобы она была поосторожнее со стариком, – Антип Денисович слыл капризным, своенравным и обидчивым человеком, способным на необдуманные поступки. И женщина неустанно следила за шкипером, готовая в любой момент встретить неожиданную выходку не совсем понятного для нее человека.

А старик, точно зная, что какой бы он ни был – без него все равно не обойдутся, становился день ото дня строптивее; носик его из красного постепенно делался лиловым. Он с руганью набрасывался на рабочих, отчаянно кричал на парусных мастеров. Целыми днями метался по шхуне сверху вниз, сам забирался на мачты, шумел, лез чуть ли не в драку на тех, кто пытался с ним спорить, и суетился

больше всех. Но, как ни странно, эта суета и шум не мешали подготовке к экспедиции: корабль незаметно приобретал необходимую для дальних путей осанку выносливого океанского скитальца.

С появлением Сорокоумова у Ирины Павловны сразу точно освободились руки. Прощая шкиперу многие его недостатки, она чувствовала, что ему можно доверить судно полностью. Теперь она уделяла больше внимания подготовке к научной работе в сложных условиях полярной ночи. Мало того – военной ночи!.. Предстояло произвести кольцевание рыбной молоди в возрасте от одного до двух лет. Эта работа, хотя и простая, сулила немало хлопот, тем более что шхуна будет находиться в полосе битого льда и вечного шторма.

От экспедиции требовалось подробно изучить животный мир восточных районов моря и Рябининской банки отдельно – банки, которую обнаружил и впервые освоил ее муж. Таким образом, она продолжит его дело – это он дал толчок к проникновению траулеров в малодоступные полярные области. Начать же экспедицию Ирина Павловна решила с изучения зоопланктона, и в частности красного рачка калянуса, являющегося основным кормом сельди. Потом необходимо проследить и составить подробный отчет о миграционных путях рыбных косяков – это лучше всего провести уже на исходе зимы. К этому же времени должна закончиться горячая пора для гидрохимиков и гидробиологов, которым предстоит изучить жизнь подводного мира в суровых зимних условиях.

Однажды в полдень сообщили, что на шхуну прибыли сыновья Сорокоумова – зверобои из приморского колхоза. Ирина Павловна еще издали заметила на палубе четверых рослых широкоплечих парней в куртках из нерпичьей кожи и в глубоких зюйдвестках. Спокойные и красивые, как и большинство коренных поморов, они плотно стояли на шканцах, а отец, вертевшийся между ними, казался до смешного жалким и маленьким.

Глянув на подходившую женщину светлыми голубыми глазами, четверо братьев стащили с голов просоленные зюйдвестки, и русые волосы заплескались на ветру.

– Здравствуй, начальник, – сказали они хором.

– Сыновья-то, а? – хвалился Антип Денисович, стуча кулаком по выпуклой груди каждого. – Что кедры таежные!

– Вас как зовут? – спросила Ирина Павловна старшего.

– Иван.

– А вас?

– По паспорту Афанасий, а батяша зовет – Ваней.

– Ну а вас? – спросила Ирина Павловна.

– Меня Ванюшей в семье звали, хотя Игнат.

– Ну а меня – Ванечкой, – засмеялся четвертый. – Так нас батяша всех по старшинству прозывает: Иван, Ваня, Ванюша и Ванечка...

– Это, дочка, – чего-то застыдившись, сказал Сорокоумов, – мое любимое имя...

Четверо Иванов жили дружно и спаянно. Молчаливые и застенчивые, как девушки, братья были люты на работу. Отца слушались беспрекословно, ласково называя его батяшей, но за этой ласковостью чувствовалось сознательное превосходство. Ирине Павловне иногда казалось, что сыновья относятся к отцу, как взрослые относятся подчас к надоедливим, но любимым детям. «Хорошо, хорошо, ты успокойся, батяша, – не раз говорили братья отцу, – мы сделаем все, как велишь». А когда шкипер уходил, они почти все делали по-своему и были, пожалуй, единственными людьми на шхуне, которые не боялись послушаться шкипера. Зато прибежит Антип Денисович ругаться, посмотрит – и притихнет сразу: выполнили братья работу даже лучше и правильнее, чем он советовал. «Ну-ну, – скажет шкипер, спеша шмыгнуть от позора в какой-нибудь люк, – я вот вам ужо!» А братья за ним: что, мол, дальше-то прикажешь делать, батяша? И скоро Ирина Павловна поняла, что превосходство братьев – это превосходство молодых людей, умудренных опытом нового – такого, что не всегда было известно шкиперу.

Вскоре на шхуну прибыл штурман Аркаша Малявко – молодой курносый парень с вечно смеющимися глазами, служивший ранее на торпедированном немцами рыболовном траулере. Он познакомился с Ириной Павловной, сразу пленил ее юношеским задором и, кинув в каюту чемодан с небогатыми моряцкими

пожитками, поднялся на мостик. Через несколько минут оттуда, из штурманской рубки, донесся крик: два мужских голоса гневно спорили о чем-то. Ирина Павловна, побросав все свои дела, бегом бросилась на мостик.

То, что она увидела, заставило ее на мгновение растеряться. Антип Денисович и Аркаша Малявко стояли посреди рубки и, яростно хрипя, кричали что-то один другому в лицо. О чем они спорили, Ирина Павловна так и не поняла. Но зато поняла другое.

Старого шкипера одолевала гордыня. Он был одарен от природы и знал это. Но его одаренность была настолько самобытной, что Антип Денисович не признавал иных путей к мастерству, кроме одного: своей интуиции, или, как он сам любил повторять, «души моей русской». Он словно обвел вокруг себя черту, через которую не давал переступить людям других взглядов.

– Это что! – говорил он не однажды. – Легко вам с геометрией да с чертежами, а вы безо всего, на глазок попробуйте...

Так случилось и сейчас. Увидев молодого навигатора и поняв, что штурман знает гораздо больше него, Сорокоумов хотел поначалу уступить и... не смог. Теперь, когда он ясно увидел того, кто пришел ему на смену, шкипер решил бороться за свое «я», которое вдруг как-то сразу воплотилось для него в любезном детище – в шхуне. И сознание, что он уже ничего не сделает, что его слава умрет вместе с кораблем, лишь усиливало старческий гнев.

Разжав руки шкипера, державшие его за воротник, Аркаша Малявко обиженно объяснял:

– Нет, вы понимаете, Ирина Павловна, если затрагивают вопросы морской науки, то я не могу быть спокойным. Я окончил Ленинградское мореходное училище, а спрашивается, кто он такой?

– А я, – дрожа от злости, кричал Антип Денисович, – одну зиму бегал в Кемское шкиперское, где монаси преподавали, потом сапоги разбились – перестал, своим умом до всего доходил!..

Выяснилось, что штурман даже не знал, с кем ему приходится спорить; он думал, перед ним какой-то парусный мастер, и велико было его удивление,

когда Ирина Павловна сказала, что это и есть тот самый шкипер Сорокоумов, под начальством которого ему придется служить.

– Ну что ж, – сказал Аркаша Малявко, – придется идти к нему извиняться. Нехорошо как-то получилось, откуда же я знал!

Он тут же отыскал шкипера на палубе, в путанице снастей и блоков, когда тот, разгоряченный спором, срывал свой гнев на одном из рабочих, и спокойно попросил извинения.

– То-то! – примирительно сказал Антип Денисович.

Ирина Павловна внимательно наблюдала за их натянутыми отношениями. Аркаша держался по-прежнему независимо; даже положение, в котором он являлся подчиненным шкипера, не мешало ему сохранять внешнюю выдержку и достоинство. Антип Денисович, еще больше уйдя в работу, наоборот, старался подчеркнуть всем, а особенно штурману, что хозяин судна – он, что многие еще не доросли до этой должности и... «вообще народ пошел мелкий». Решив не вмешиваться, Рябина напряженно следила за этой молчаливой схваткой.

И все-таки молодость победила: настал такой день, когда Антип Денисович сказал:

– Ты, кормчий, хоша и академию кончил и румбы не по-поморски – шалоник, стрик, обедник, веток, – а по аглицкому манеру кличешь: норд, зюйд, вест, ост, но парень ты крепкий!.. Пора тебя вразумить искусству моему. Буду учить с пристрастием. Много авось лишнего наговорю. А ты не все лови, что по воде плывет. Бывает, грешным делом, такое поймашь...

И он стал готовить из него своего помощника. Каждый день, с утра до обеда, объяснял Аркаше систему парусов, и хотя штурман изучал парусное дело еще в училище, но от таких уроков не отказывался. Он понимал: то, что передает ему старый шкипер, необычайно, прекрасно и просто до гениальности.

* * *

В этот день вернулся из плавания муж. Целуя его на пороге, она ощутила на своих губах солоноватый привкус моря. Прохор, которому была привычна просторная каюта «Аскольда», неловко задевал плечами мебель и, расхаживая по комнате, как по мостику, неспеша рассказывал о своих делах.

Набив трубку, остановился около стены, где висела скрипка сына, и мягкая улыбка осветила на мгновение его суровое лицо.

– Сына встретил... Говорил с ним. Растет парень, человеком становится...

Ирина быстро соскочила с дивана:

– Ну что? Что с ним?

И даже отшатнулась, когда услышала скупые, расчетливо-спокойные слова правды.

– Так ты не забрал его оттуда? Но ведь ты мог это сделать!..

Неожиданно она заплакала. Капитан потряс ее за плечо:

– Перестань, Ирина!.. В свое время я начинал жизнь так же, как он.

– Но ведь на море война! Его могут убить... Ты понимаешь, что это значит...

Прохор Николаевич оставил плечо жены, выпрямился:

– Вот видишь, я стою перед тобой. И я только что вернулся с моря. Оттуда, где идет война. И он тоже вернется! Ты, Ирина, ему не мешай. Пусть все будет так!

И, как-то сразу успокоившись, она ответила:

– Хорошо, пусть все будет так...

Прохору надо было верить. Он был для нее прочной опорой, ни разу не пошатнувшейся за все годы их совместной жизни.

Проход - ее твердыня!..

Три койки

Тело горит. Боль исходит откуда-то из глубины, чуть ли не от самого сердца. Какой-то матовый шар висит над ним, ослепляя светом. Потом начинает вращаться. Все быстрее, быстрее. Становится холодно. Почему мама забыла закрыть окно?..

Чьи-то теплые руки подхватывают его голову, приставляют к губам ободок кружки. От воды вроде становится легче, и Русланов тихо спрашивает:

- Который час?

- Уже восьмой.

- Значит, скоро укол. Скажите, чтобы поскорее...

- Хорошо. - Женщина, поившая его водой, тихими шагами отходит от него к соседней койке. Там лежит какой-то незнакомый офицер; лицо под тусклым светом кажется синим, щеки впалые, голова плотно забинтована, он что-то рассказывает женщине.

- ...Было-то это совсем недавно, - говорит офицер. - Приехали бы вы раньше, и вы бы еще встретили его в Мурмане. Он отдыхал там на военном курорте. Я не думаю, чтобы он мог погибнуть так просто. Хотя...

Чужая судьба, чужое горе, чужая боль! А тут своя боль, и такая страшная, и вот она снова наваливается на него. Снова мечется в жаркой постели жаркое, в осколках и ожогах молодое тело.

- Лежите, лежите. Вот идет сестра, сейчас она вам сделает укол...

Что-то ледяное дотрагивается до руки, короткий укус иглы – и боль пропадает. Потом, точно во сне, Русланов видит, как в палату втекают носилки, на которых лежит забинтованный матрос в тельняшке. Носилки останавливаются как раз перед койкой Русланова, и он узнает в этом матросе командира «Аскольда».

Только не того Рябина, каким он привык его видеть, а еще молодого – почти мальчика.

* * *

Сережка очнулся и увидел над собой белый потолок с рядами заклепок. Потолок качался. Качался и он сам.

Что-то звенело, плескалась вода. Он повернул голову, увидел лейтенанта в белом халате.

– Где я? – спросил он.

– На «Летучем», – ответил доктор.

Сережка вспомнил все сразу: шторм, груз на палубе, планширь с двумя болтами, темный силуэт миноносца, нырявшего с гребня на гребень...

– Ух! – вздохнул он, внезапно испугавшись всего, что было.

Доктор нацедил в стакан какой-то прозрачной жидкости, долил ее водой из-под крана умывальника. Посмотрел стакан на свет.

– На, пей!

– Что это?

– Спирт.

– Я боюсь. Никогда не пил.

- Шторма не струсил, а тут сто граммов выпить боишься. Пей, это тебе на пользу.

Сережка набрался храбрости, осушил стакан одним махом. В голове закружилось, стало тепло, захотелось смеяться. И, беспричинно улыбаясь, он слушал, что рассказывал ему веселый доктор.

- ...Ну, брат, смотрим, ты совсем скрылся. Потом - нет, вынырнул. А погодка, сам знаешь, какая была: ветер-шалоник, как говорят поморы, на море разбойник, без дождя мочит. Думаем, пропал парень. И пропал бы, если бы командир не дал полный и не вывел бы на тебя эсминец. Подобрали тебя - и на борт! Живи, брат...

- Спасибо! - сказал Сережка.

- Ты не меня благодари, а командира и сигнальщика Лемехова. Он перед вахтой крепкого кофе выпил по моему рецепту, и глаза у него стали, как у кошки, - сразу тебя заметил...

- А транспорт? - вдруг насторожился Сережка.

- Э-э, брат, забудь! Ушел в Англию...

Стоило преодолеть столько препятствий, чтобы потом оказаться сброшенным за борт! Правда, теперь он не сомневался, что транспорт, вернувшись из Англии, снова примет его в состав команды. Но жди, когда он вернется!..

После обеда юноша пошел благодарить сигнальщика Лемехова. В кубрике матросы показали ему на здорового матроса, богатырский храп его наполнял кубрик. Сережка попробовал разбудить сигнальщика, спасшего ему жизнь, но Лемехов не проснулся. Матросы отсоветовали тревожить его вовсе.

- Если боевой тревоги не будет, - шутили они, - то к ужину сам проснется. Его у нас только обеды да тревоги в чувство приводят... Правда, можно зажать ему нос, но он и без дыхания спать умеет...

Тогда Сережка пошел к командиру в салон, где его поразила красивая, совсем не каютная обстановка. Сам командир – капитан третьего ранга Бекетов – оказался человеком маленького роста, с добродушным румяным лицом. Он сидел за круглым столиком в глубоком кожаном кресле и пил чай, просматривая какие-то бумаги. Чай был заварен по особому «морскому» способу настолько крепко, что он переставал быть нормальным чаем и переходил в разряд особого напитка, который на флоте носит странное название «адвокат».

– Это ты брось, – сказал Бекетов, когда юноша стал благодарить его за спасение. – Тебя вот с транспорта по семафору благодарили. Они тебя обратно бы взяли, но шторм был, а потом зыбь, видишь, и сейчас какая, борта можно память...

Скоро капитан третьего ранга стал собираться на мостик. Он пролез головой в глубокую меховую кухлянку, обмотал шею пестрым шарфом, стал натягивать пудовые штормовые сапоги.

– А ведь я твоего отца знаю, – говорил Бекетов, – таких, как он, моряков мало. Недавно бой разыграл с немецкими миноносцами, здорово им корму горчицей смазал. Только вот чего это он тебя в море отпустил?.. Придем в Кольский залив, возьму я тебя за ухо и отведу к матери... Еще навоюешься!..

Сережка, пожалуй, впервые за всю свою жизнь пожалел о том, что его отца все знают. Но, к счастью, все сложилось так, что командиру не пришлось отводить беглеца за ухо.

На приеме топлива в отдаленной базе миноносец получил приказ следовать на поиски подводных лодок, и Сережка переключался на торпедный катер «Палешанин», который скоро отправлялся в Кольский залив. Катер назывался так потому, что был построен на средства палехских живописцев. Командовал им лейтенант Глеб Павлович Никольский – бывалый катерник, кавалер многих орденов и медалей.

«Палешанин» ходил под гвардейским флагом. Все команда носила значки морской гвардии, на бескозырках вились оранжево-черные – огонь с дымом! – ленточки.

В первый же день Сережка успел познакомиться со всей командой катера. Боцман Тарас Григорьевич Непомнящий, высокий человек лет сорока, с обвислыми черными усами, сразу покорила юношу своим добродушием и плавной, медлительной речью, которая, казалось, ласкала человека, обволакивая его каким-то теплом. Мотористы – родные братья Гаврюша и Федя Крыловы, похожие друг на друга, как близнецы, – они, казалось, и измазаны были одинаково: у одного на лбу соляровое пятно и у другого. Радист Никита втянул гостя в свою радиорубку и, посадив его под стол (больше не было в рубке свободного места), дал послушать эфир. Торпедисты Илья Фролов и Ромась Павленко, целый день возившиеся около своих аппаратов, ничем не выделялись – матросы и матросы! – но и они нравились юноше. Но особенно пленяло Сережку то, что они были гвардейцы: и сам командир Никольский, и ласковый боцман Непомнящий, и маленький радист Никита – все казались легендарными героями.

Вечером «Палешанин» вышел в море, взяв курс на Кольский залив. Сережка никогда не видел такой бешеной скорости. Катер, подпрыгивая на гребнях волн, стрелою вонзался во тьму, разводя по бортам высокие и острые буруны. Палуба тряслась под ногами от рева моторов, и приходилось поворачиваться лицом к корме, чтобы не задохнуться от ярого напора ветра.

Юноша всего минуту пробыл наверху, а спустился в кубрик уже мокрый, хоть выжми. Боцман похлопал его по плечу и крикнул:

– Это еще что! А вот когда в атаку идем, так чувствуешь, как мозг в черепной коробке трясется...

Вечером катер ворвался в Кольский залив и с ходу вошел в Тюва-губу. Никольский вызвал Сережку к себе, дал ему денег на билет, чтобы добраться до Мурманска. Давно ли он на катере, а все люди стали для него родными, и он для них не чужой. Поблагодарив Глеба Павловича и попрощавшись с матросами, он сошел с палубы на деревянный причал.

В конце причала по рельсам катился подъемный кран, держа в своем клюве зарядную головку торпеды, похожую издали на большую серебристую рыбину, коротко обрубленную у хвоста. Катерный боцман шагал рядом, похлопывая «рыбину» рукой в широкой брезентовой рукавице.

Поравнявшись с Сережкой, Тарас Григорьевич подал ему темную широкую ладонь:

- Будем в Мурманске, так заходи!..

Сережка постоял, посмотрел, как старшина снова занял свое место около торпеды, и направился в сторону рейсовой пристани. Но еще не сделал и нескольких шагов, как вдруг за его спиной раздался грохот тяжело упавшего предмета, и дикий крик ворвался в уши.

Сережка мгновенно обернулся и увидел, что головка торпеды, упавшая стоймя на рельсы, всей тяжестью придавила боцмана спиной к скале. Юноша в несколько прыжков очутился рядом. Чувствуя, как обрывается что-то внутри живота, он стал отталкивать торпеду от груди старшины.

Он даже не заметил, как отвалился в сторону, слабо охнув, боцман, и все отводил и отводил нависшую теперь над ним тяжесть. Потом, немея от напряжения, ощутил на своем подбородке что-то теплое и не сразу догадался, что это течет изо рта кровь.

На помощь ему уже бежали торпедисты Илья и Ромась. Вдвоем они освободили юношу из-под груза, и он, обмякнув, кулем упал на доски причала. Собрался народ, прибежали матросы с катеров, вызвали Никольского.

Оправившийся боцман ходил вокруг Сережки, виновато хлопая себя по коленям:

- Как же это, а?.. Да если бы я знал... А что он как налетел без спросу. Братцы родные, выходит, я виноват, что задавило мальчишку!..

Подъехала полуторатонка и увезла Сережку в госпиталь. Люди разошлись, а лейтенант Никольский еще долго стоял на одном месте, вертя в руках оборванный тросик, о чем-то думая. Боцман стоял рядом, виновато моргая глазами.

Наконец Никольский, отбросив от себя обрывки троса, сказал:

– Сильный парень! Вы, Непомнящий, проследите за ним и, когда он будет выписываться из госпиталя, доложите мне. А вам я объявляю выговор за халатность.

И, круто повернувшись, лейтенант пошел на катер.

...Носилки остановились как раз перед койкой Бориса Русланова, и матрос долго всматривался в лицо Рябинина, удивляясь тому, как он молодо выглядит.

* * *

Третьим в палате лежал Николай Ярцев, тот самый лейтенант, что привел когда-то свой отряд к бухте Святой Магдалины, прорвав кольцо окружения и потеряв только одного человека – Константина Никонова; и это к нему приходила женщина, что поила водой аскольдовца Русланова.

«Друзья, не верьте слухам...»

Перрон вокзала в Ленинграде, мокрый от вечернего дождя, фонари в игольчатых венцах. Запах роз был удушлив и горек в эту ночь расставания. А у нее дочь на руках, ее колосок, ее Женечка, совсем еще крохотная, и дома она будет кормить ее грудью.

– Прощай, Аглая! Уже третий звонок...

– Нет, постой, ты смотри – она смеется, видишь?

– Я тебя жду, Аглая, в Мурманске зимой.

– Милый, это так скоро!..

– Прощай, моя красивая, пиши чаще!

– Зачем писать? Мы скоро встретимся!

Больше они уже не виделись...

Тетя Поля колола дрова, с трудом распрямила спину, когда Аглая подошла к ней.

– Ну? Рассказывай!..

А когда прошли в квартиру, Аглая упала головой на кухонный стол, застыла надолго. И напрасно Женечка-колосок юлила возле матери, лезла к ней на колени.

– Мам-мам-мам, ты нашла папу? Он еще не приехал? Мама-мам, что же ты молчишь?..

Тетя Поля оторвала девочку от Аглаи, шлепнула полотенцем.

– Иди, иди! Не мешай матери! – И вывела ее из кухни.

Потом подошла к Аглае, ласково и участливо, как может только женщина, обняла ее за плечи. И от этого Аглае стало легче.

– Да, тетя Поля, я нашла его, – стала рассказывать она. – Нашла – и потеряла снова. Вы знаете, милая, сколько я исходила, прежде чем нашла на его след. Наконец мне сказали, чтобы я шла в госпиталь, где лежит раненый командир Кости. И он рассказал мне все. Все, как это было...

Аглая задумалась, смотря в окно, из которого виднелся западный берег Кольского залива: сопки, сопки, сопки!..

– У Антона Захаровича, – неожиданно спросила она, – случайно нет карты? Хоть какой-нибудь?

Тетя Поля убежала в комнату мужа, долго не возвращалась, наконец принесла старую, потрепанную карту рыбного промысла в Баренцевом море. Аглая долго изучала изрезанное побережье северной Норвегии, пока не нашла то, что ей было нужно.

– Вот здесь, вот! – показала она на узкую полоску фиорда, далеко вклинившегося в берег северной провинции Финмаркен.

– Сейчас, сейчас, – засуетилась тетя Поля. – Ведь я без очков-то совсем не вижу. Ну-ка, что это такое?

Надев очки, она пригнулась к карте и прочитала из-под пальцев Аглаи ломаный географический шрифт:

– Зандер-фиорд... Так, а это? Бухта Святой Магдалины... Ишь ты, святой!.. Как же понимать это все, Аглаюшка?

Волнуясь и путаясь, Аглая стала рассказывать все, что узнала о муже от лейтенанта Ярцева. Как отряд напоролся на засаду егерей, как они пытались пробиться к морю и как ее муж вызвался прикрыть отход.

Порой от надежды она переходила к полному отчаянию, но это длилось недолго. Аглая обвела карандашом на карте бухту Святой Магдалины, вслух придумывала всевозможные исходы боя, из которого муж должен был выходить живым и невредимым.

Громадным каменистым барьером встала на рубеже их судеб чужая, незнакомая страна, и, чтобы встретиться, надо преодолеть этот барьер. Он – там, он – в глубоких снегах Финмаркена, продолжает жить, бороться, любить ее...

Ночью Аглаю разбудил курьер, присланный с работы. Стараясь не потревожить спящую девочку, она быстро оделась и вышла на улицу.

Ночь была морозной, прозрачной. Немая военная тишина стояла над Мурманском, и скрип снега под валенками отдавался чуть ли не эхом в глухих переулках.

Изредка встречались матросские патрули. Аглая лезла в сумочку, доставала ночной пропуск. Матросы, соединив в кружок головы, читали при свете сигарок:

– Аглая Сергеевна Никонова... Зоотехник прифронтового ветеринарного пункта... Проходите, гражданка!

Ветеринарным пунктом заведовал плотный аккуратный майор с проседью на висках. Он встретил Аглаю у входа в загон корраля, за оградой которого, освещенные лунным светом, олени вяло жевали ягель, стучали копытами по мерзлой земле.

Пожав женщине руку, майор объяснил:

– Новая партия оленей для фронта. Только что прибыла из тундры. Работа срочная. К утру животных надо уже сдать фронтовикам. Так что потрудитесь... Да, кстати, у вас, кажется, ребенок?

– Да. А что?

– Я хотел вас командировать в тундру на ветеринарный кордон. Но вот...

– Ребенок не помешает, – ответила Аглая и прошла в корраль. Хлопая животных по круто выгнутым шеям, она ласково говорила: – Олешки мои, олешки!..

Здесь же расхаживали с трубками в зубах колхозники-ненцы, которые передавали оленей пехотинцам, прибывшим с фронта. Аглая велела колхозникам и солдатам подводить к ней оленей поодиночке.

Первый олень вошел на помост загона, испуганно поводя карим глазом, – уши торчмя, ноги танцуют, копыта дробно постукивают. Аглая проверила его и сразу определила в легкие нарты.

– Больше двух ящичков со снарядами на этом не возите, – сказала она солдатам. – Горяч и больно молод.

Ввели второго, третьего... Обнаженные до локтей руки Аглаи привычно ощупывали ноги и грудные мышцы животных, пробовали губы оленей, били по крестцам так, что пугливые хапторки приседали к земле круглыми задами.

– А у этого красавца долго рога держатся. Сбить!..

Пригнув оленя головой к земле, сбивали ему рога и, еще не опомнившегося, тихо стонущего, впрягали в нарты.

– А этот хора староват.

– Зачем обижаешь, начальник? Молодой хора.

– Ну что же, я не вижу? Разве это уши молодого? А вот важенка пойдет... Можете сразу впрягать ее в нарты...

Никогда еще она не проверяла животных так тщательно: ведь оленям Аглаи бежать далеко – до самой бухты Святой Магдалины!

* * *

Он брел в свое логово. Была у него теперь такая пещера под обрывом скалы. Над ней нависал гребень плотного снега, и если бы кто знал, насколько уютным и чудесным казался ему этот «свой» уголок в дикой тундре!

Он тащил на себе автомат и большой рюкзак, набитый обоймами. Это была его сегодняшняя добыча, и он, как зверь, тащил ее в свою берлогу. В руках у него была можжевелевая кривая, все в шипах и зазубринах дубина, и он опирался на нее, она помогала ему преодолевать ручьи и скалы. Усталость валила его с ног, и он пел, чтобы не замечать этой усталости.

Вернее, он не пел, а выхрипывал в морозный воздух какие-то слова, которые для самого него, и только для него, слагались в прекрасную бодрую песню:

Друзья, не верьте слухам —

Я жив и невредим.

Вот кончится разлука,

Тогда поговорим.

И сдвинутся стаканы —

За жизнь, что нам дана,

За боевые раны,

За наши ордена...

Что-то резко шарахнулось в кустах, снежная пыль взметнулась столбом, и он схватился за автомат:

– Хальт! Сейс! Илте! – на трех языках сразу.

Но это был всего лишь заяц, испуганный его приближением. Однако нервы человека были уже натянуты до такой степени, что даже встречи с косым было достаточно для него. Никонов опустился на снег, долго и тяжело дышал.

– Люди, – сказал он, смахивая иней с бороды и усов, – люди... только они. А звери – что?

Он со стоном поднялся. Уже был близок рассвет, а он еще не успел углубиться в глушь сопки. Ноги вязли в рыхлом снегу, скользили по хрупким насыпям фирна. Ремень трофейного шмайсера больно натер шею, оружие леденило ладони.

Зачем же верить слухам —

Я жив и невредим.

Окончится разлука,

Когда мы победим...

С пологой вершины виднелся утонувший в ущелье стан горняков Ревущий. В сумерках маячили рудничные башни. В центре стана на крыше каменного дома развевался гитлеровский флаг с крестом. Ранние дымки вились из труб бараков.

– Кха-кха-хы-хы, – раскашлялся Никонов и поразился тому, каким гулким эхом отдается в тишине его кашель. Теплые дрожащие огни рудничного поселка манили его к себе, манили к теплому очагу, около которого можно согреть руки, его слух, истосковавшийся по людской речи, чутко улавливал далекие отголоски...

– Нельзя! – сказал он себе, словно пытаюсь убедить себя в чем-то, и решил обогнуть поселок с юга, чтобы потом выйти на дорогу, уходящую к заброшенным каменоломням. Он спустился с холма и, высоко поднимая ноги, побрел дальше. Вершины фиельдов курились утренними туманами. В неясном предрассветье медленно проступали упавшая на снег веточка, след хромавшего волка, обрывок бумаги, занесенный ветром со стороны поселка...

От усталости и голода толчками движется кровь. Сержант уже привык к морозам, но голод – вот что мучило его все время. Никонов теперь часто и подолгу дежурил на поворотах дорог, где обычно буксовали идущие к фронту немецкие машины, чтобы вскочить на ходу в кузов и шарить в нем в поисках съестного.

Потом сержант изменил свою тактику: выбрав удобное место, где шоссе проходит над обрывом в ущелье, он часами лежал в снегу, подстерегая обоз врага. Никонов бил одиночными выстрелами, целясь, как правило, в шофера, и грузовики, потеряв управление, с разбегу рушились в пропасть. Потом, при свете сполохов полярного сияния, разведчик рылся в обломках кабин, подбирая целые диски для своего шмайсера, разыскивал съестное...

Кто-то идет... трое!..

Никонов уже порядком отошел от Ревущего, когда заметил идущих вдоль дороги трех немецких солдат. Сержант прыгнул в низину, в глубине которой его не могли увидеть, но немцы неожиданно свернули с дороги и, проваливаясь по пояс в снег, тоже стали спускаться под откос.

«Куда вы лезете, проклятые? Что вам здесь?..»

Он долго не мог понять, что нужно немцам в этот глухой предрассветный час в этой темной, заваленной снегом низине, и дал гитлеровцам подойти ближе, чтобы лучше их рассмотреть.

«Тотальная сволочь!» – определил он их.

Один немец – без погон, без ремня, в пилотке, низко надвинутой на уши, – не шел, а почти качался, часто останавливаясь и спрашивая что-то у своих спутников. Те в ответ громко смеялись и, указывая карабинами дорогу, шли

дальше. У первого немца оружия не было. Он все время держал руки позади, и Никонов вначале решил, что он держит за спиной топор, а все трое просто идут рубить кустарник.

Но скоро враги подошли настолько близко, что сержант угадал в двух идущих позади солдат полевой жандармерии, а в этом...

«О-о, какой ужас!..»

Первый немец снова обернулся, и сержант вдруг увидел его руки, скрученные сзади веревками. От удивления Никонов даже приподнялся с земли, чуть не выдав себя. Стало все ясно: жандармы сейчас будут расстреливать этого солдата.

«Кто – кого, мы еще посмотрим...»

Никонов на всякий случай выдвинул из-за камня ствол своего автомата. Осужденный на смерть заслонял собой идущих позади жандармов, и нельзя было выстрелить, не задев и его. Сержант терпеливо выжидал.

Наконец один из карабинеров крикнул:

– Neh, Kerl, halt![1 - - Эй, маленький, стой! (нем.)] – И все трое остановились.

Жандармы стали утаптывать ногами снег, а солдат, повернувшись к ним лицом, молча следил за их работой. Вся его фигура была неподвижна и выражала полное равнодушие ко всему происходившему. Но Никонову сзади было хорошо видно, как судорожно двигаются его руки, стараясь освободиться от крепких веревочных пут.

«Ого, – подумал сержант, – немец, видать, из горячих...» И, беря на мушку первого жандарма, он с интересом наблюдал за взволнованной поспешностью убийц и сдержанной яростью убиваемого.

Карабины жандармов взлетели кверху, и вдруг солдат, еще раз рванув связанными руками, крикнул:

– Наздар Чехословенска!..

Никонов два раза нажал на спуск, и упали все трое: жандармы – сразу, а третий – немного погодя. Держа дымящийся шмайсер, сержант подбежал к солдату. В каком-то непонятном исступлении он схватил его за плечи, из которых еще торчали нитки от споротых гитлеровских погон, и бешено затряс, крича ему в самое ухо:

– Я – русский... Москва... Россия!.. Понимаешь ты?

Глаза солдата с удивлением смотрели на него.

– А ты?.. Кто ты? За что тебя? Отвечай!..

И вдруг услышал в ответ – слабое, как выдох:

– Прага...

* * *

Словак Иржи Белчо был мобилизован в немецкую армию. Уже на корабле, отправляясь на фронт, он решил при первой же возможности перейти на сторону русских. Но замыслам Белчо не удалось осуществиться. Ночью транспорт подорвался на mine, и только на вторые сутки к месту гибели подошел немецкий миноносец. Иржи вытащили из воды, и матросы долго вырывали из его заочневших пальцев обломок шляпочного борта. Миноносец сразу же взял курс на Каттегат. Он шел в Норвегию.

Иржи попал в концлагерную охрану. О дезертирстве нечего было и думать. От Эльвебаккена, где находился лагерь, до передовой пролегла снежная пустыня, в которой только изредка дымили чумы нищих саамов. Здесь же Белчо впервые увидел русских. Их было двенадцать человек, и они ждали смертного приговора. Белчо даже не знал их имен, называя всех одним ласковым словом – «друзе». И друзе терпеливо вели подкоп из-под барака. Иржи достал им двенадцать ложек, и они скоблили этими ложками каменистую почву, вынося выкопанную землю наверх в своих карманах. Подкоп уже подходил к линии проволочных заграждений, когда Белчо узнал, что на рассвете все двенадцать будут

расстреляны. Он сообщил им об этом, а сам заступил часовым на пулеметную вышку. И ночью, когда все спали, земля раскрылась, из нее вышли молчаливые дружки и пропали в тундровой тьме. А потом...

В камеру гарнизонной гауптвахты пришел фельдфебель, назначенный вести следствие. «Чего тебя защищать? – откровенно заявил он. – Измена великой Германии карается смертью. Так и так ящик!» И ушел, оставив после себя два окурка и едкий запах дешевых солдатских духов. На рассвете (ох, эти рассветы, когда гремят выстрелы!) его вывели из Ревущего, где он просидел в солдатском каземате целых полтора месяца...

Когда словак рассказал все это своему спасителю, Никонов долго молчал, вертя в пальцах трофейную сигарету. Потом, как бы нехотя, выдавил вместе с дымом:

– Что ж, надо верить.

– А почему не верить? – спросил Белчо.

– А можно верить?

– Верь, товарищ!

Однажды они шли по узкой горной тропинке... Тропинка вилась по уступам скалистого хребта; внизу темнело заросшее кустами ущелье. Небо в этот день присело к земле совсем низко, облака царапали острые зубья вершин. Они брели почти без цели, почти наугад, вслепую – ведь им было все равно куда идти, лишь бы попадался враг, лишь бы удалось добыть на сегодня съестного.

– Сейчас бы по стаканчику рому, – сказал Белчо. – И хорошо бы под крышу!

– Тише, – остановился Никонов, – кого-то несет навстречу. По-моему, едут.

– Едут? – удивился словак. – Здесь два барана не разойдутся, на этой тропе. Как можно еще ехать?

Он скинул с шеи автомат, проверил ход затвора.

– Не надо, – сказал ему Никонов. – Немцы не станут здесь ездить. По таким тропам рискуют только норвежцы...

Действительно: из-за крутого поворота, скользя шинами по обледенелой тропе, выехала на прогулочном велосипеде легко одетая в лыжный костюм девушка. Никонов никогда не переставал поражаться мужеству жителей Финмаркена и сейчас почти с восхищением наблюдал за велосипедисткой.

– Пойдите, фрекен, – сказал ей Никонов.

Не оставляя седла, девушка прислонилась к скале, молча и без тени страха на лице ждала, когда к ней подойдут эти странные незнакомцы.

– Вы далеко едете? – спросили ее.

– До города. Я еду к пастору...

Оказалось, что девушка хорошо говорит на «руссмоле» – этом старинном местном наречии, схожем на русский и норвежский языки одновременно. Никонову, который немного владел норвежским, было нетрудно с ней объясняться.

– Вы догадываетесь, кто мы такие? – спросил он.

– Вы – трубочисты, – ответила девушка. – Я давно не видела таких грязных людей...

Они не могли оценить ее юмора и попросили никому не говорить, что она их видела. Девушка ответила, что она терпеть не может болтунов и «наперченных» («наперченными» звали в Норвегии квислинговцев по имени их вождя фюрера Видкупа Квислинга, которого однажды избили мешком с перцем).

– Вы не знаете, где бы здесь можно было согреться? – спросил ее Иржи Белчо, который сильно страдал от холода.

– Здесь, – пояснила норвежка, – поблизости есть сразу два места. Охотничье «хютте» стоит вон за тем хребтом, но я не советую идти туда. Эсэсовцы, когда

охотятся на диких оленей, всегда забредают в то «хютте». Лучше спуститесь по этой низине к морю. Там, в соседнем фиорде, стоит заброшенный рурбодар. До войны там было можно найти дрова, сухари и спички.

Девушка оттолкнулась от скалы, нащупала педали.

– Обождите уезжать, – сказал Никонов. – Мы хотим отблагодарить вас. – Он развязал свой мешок, вынул банку бразильского кофе, который достался ему от немцев. – Вот вам, держите. Я знаю, что для вас кофе – все равно что хлеб для русского человека!

Глаза девушки засияли:

– О, в наше время это почти как золото...

Жить они стали в покинутом норвежскими рыбаками старом рурбодаре. Почерневший от соленых ветров, заросший со стороны севера мхом, этот дом одиноко стоял на берегу пустынного фиорда. Оконце, залепленное пузырем рыбы палтуса, одноглазо и тускло смотрело в полярное небо. Рурбодар топился по-черному; сажа слоями свисала с низкого потолка; плохо закрывалась разбухшая дверь, изо всех щелей дуло, но они были рады и такому жилью.

Вдвоем они коротали бесконечно тянувшиеся полярные ночи, грелись возле одного огня, а если не было дров, сидели, тесно прижавшись друг к другу; они делили пополам табак и пищу, их сближало родство славянской речи, но еще долго в их отношениях оставалась какая-то натянутость и настороженная подозрительность.

Но скоро они дважды попали в такие переплеты, что не думали выйти живыми. А когда поняли, что старуха смерть на этот раз только пожевала их в костлявой пасти и выплюнула, то они, как пьяные, целовали друг друга от счастья. Преисполненные тоской одиночества, их сердца как-то сразу открылись одно другому, и между ними возникли отношения даже не товарищей по оружию, а скорее – побратимов, как будто кровь одного из них перешла в жилы другого.

Никонов говорил, словно извиняясь:

– У меня в тот день дрожали руки. Шмайсер запрыгал, как кузнечик в траве. Еще немного, и я бы, наверное, полоснул нечаянно по тебе очередью.

– Ну, что ты говоришь! – отвечал Иржи Белчо, смеясь. – Эти двое, которых мы там оставили, никогда бы не промахнулись. У меня в Праге старуха мать. Поверь, у нее теперь два сына: ты и я!..

Жизнь постепенно налаживалась. Лихая и суровая жизнь. Жизнь – не просто партизана, а еще и полярника. В страшные морозные бураны, когда заметало снегом двери и окна, они любили уют своего убогого жилья как-то особенно нежно. Засветив трофейные фонари, распечатывали банки консервов. Никонов вышлепывал пробку из бутылки рому.

– Давай музыку! – говорил Константин, и словак доставал губную гармошку. – Играй вот эту: «Товарищ, я слышал во сне, как мать меня кличет по имени...» Я люблю эту песню!..

Потом, обняв друг друга и раскачиваясь в такт песни, они распевали марш узников Эльвебаккена, который Иржи Белчо запомнил еще по лагерной службе:

Все ниже, и ниже, и ниже

советские бомбы летят,

и мы в Эльвебаккене слышим,

как Гитлера кости хрустят.

Все выше, и выше, и выше

мы головы держим в беде...

А ночью они засыпали тревожным, опасливым сном, и над одним из них властно шумели столетние дубы Вацлавского наместья, а другой видел вокзальные перроны, кружились лепестки роз, и Аглая, вся залитая солнцем, шла навстречу, еще издали протягивая к нему свои руки.

Так спали они, положив опухшие от холода, давно не мытые пальцы на ледяные курки трофейных шмайсеров.

Суббота

В кубрике было шумно и тесно. Повсюду качались подвешенные к койкам зеркальца, и матросы, приседая перед ними, торжественно скоблили бритвами щеки. С каждой минутой увеличивалась и без того бесконечная очередь на единственный утюг – гладить праздничные брюки и воротнички. Шел в ход даже сахар – его разгрызали на зубах в порошок и потом, борясь с искушением проглотить, яростно выплевывали на ботинки, – получалось впечатление лака.

Пахло корабельной субботой, то есть, говоря иными словами, мылом, содой, бензином и одеколоном.

Ну а разве можно молчать в такую минуту, когда чуть ли не вся команда собралась в одном кубрике? Конечно, нет! Ну и, понятное дело, говорили не стесняясь.

– Ребята! У кого суконка – пуговицы драить?

– У Мордвинова.

– Эй, Яшка, дай суконку, слышишь?

– Не мешай ему, он мечтает.

– О чем же?

– О лейтенанте медицинской службы. Влюблен!..

– Найденов, быстрее гладь свой океанский клеш.

– А что?

– А ничего, просто быстрота – залог морской службы.

- Эй, награжденные, с вас приходится.

- А вот мы сегодня все выпьем по сто граммов!

- Ну да! По сто граммов - это если во время похода было до пятнадцати градусов ниже нуля.

- А в последнем сколько было?

- Спроси у Хмырова - он знает.

- Хмыров!

- Ну что тебе?

- Какая температура была в последний раз?

- Минус семнадцать.

- Ну вот, видишь, значит, по сто пятьдесят.

- А за шторм нам ничего не полагается?

- Ишь, что выдумал! Море-то вечно штормит, что ж, и нам быть вечно пьяными?

- Кузьма, что ты мне за бритву дал? Как топор!

- Смирно! Товарищ лейтенант, личный состав корабля занимается самообслуживанием. Дневальный по кубрику краснофлотец Ставриди.

- Вольно.

Пеклеванный в хрустящем по складкам кителе спустился по трапу.

- Поздравляю вас с награждением, вас и ваших товарищей, - сказал он.

- И вас также, товарищ лейтенант.

- Спасибо! - Пеклеванный старался не встречать устремленных на него взглядов, точно чувствовал за собой какую-то вину. - Команды подавать не надо, - предупредил он дневального, - можете заниматься своими делами...

Проходя по коридору, Пеклеванный замедлил шаги возле двери судового лазарета.

- Входите, лейтенант, - раздался из каюты голос Вареньки, узнавшей его по шагам.

Он вошел. Девушка стояла к нему спиной перед туалетным шкафиком. Их глаза встретились в зеркале.

- Поздравлять пришли, наверное?

- Да, пришел.

Ему вдруг захотелось подойти к девушке и поцеловать ее. Но он удержался от этого рискованного поступка и, остановившись у комингса, сразу как-то растерялся. Сбоку он видел в зеркале лицо Вареньки, - она улыбалась ему, некое торжество светилось в ее больших глазах, точно ей доставляло удовольствие наблюдать за его растерянностью.

Тогда лейтенант быстро выпрямился, почувствовав в этой улыбке что-то унижительное для себя, и заговорил совсем о другом:

- Да, между прочим, с моря вернулся миноносец «Летучий»...

- Опять миноносцы! - погрозила она ему пальцем.

- Нет, вы послушайте, это очень интересно.

- Ради такого дня, как сегодня, прощаю. Говорите.

– «Летучий» таранил немецкую подлодку и вернулся в базу с вмятиной на форштевне. Вы представляете себе...

В дверь неожиданно постучали.

– Входите! – крикнул Пеклеванный, досадуя, что ему помешали продолжить разговор.

Вошел Мордвинов, неся на вытянутых руках поднос с тарелками.

– Проба праздничного ужина, – заявил он, пристально посмотрев на Артема и Вареньку.

– Хорошо, иди, – сказал лейтенант.

Матрос, угрюмо ответив «есть», вышел. Варенька кивнула вслед:

– Не знаю, какой он дальномерщик, но санитар он прекрасный. Что мне особенно нравится в нем, так это исполнительность и скромность.

– Однако, – заметил Артем, – орден он получил за подвиги не в лазарете, а на мостике. Впрочем, когда я встретил его впервые, то никогда бы не подумал, что Мордвинов может быть настоящим лихим матросом. Я помню, даже профитилил его за нерасторопность.

– Он действительно неуклюжий, – согласилась Варенька. – Но все старается, трудится. И все у него выходит так трогательно!.. Матросы над ним даже смеются. Говорят, что он влюблен и ухаживает за мной.

– Подчиненный должен держаться в рамках официальных отношений. Так учит устав.

– Что я слышу! – пошутила девушка. – Вы, кажется, – недовольны тем, что в меня, может быть, действительно влюблены?

– Нет, – сердито отозвался Артем, – просто я вижу в этом признак недисциплинированности. А каждый недисциплинированный матрос – это брак в

работе офицера. Так как прямым начальником Мордвинова являетесь вы, Варенька... простите, что я вас так называю...

- Ничего, называйте.

- ...то это брак в вашей работе.

- Благодарю вас, - притворно кротко вздохнула Варенька, - я постараюсь исправиться.

Артему вдруг стало смешно. «А все-таки, - подумал он, - девушка, конечно, чудесная и... и, может быть, напрасно я...»

- Как же вы собираетесь исправиться? - быстро спросил он.

- Очень просто, - ответила Варенька. - Теперь я сама влюблюсь в Мордвинова и тогда, при условии, что моим прямым начальником являетесь вы, это будет брак уже в вашей работе, Артем... простите, что я вас так называю...

- Да называйте, пожалуйста...

- Так вот. И хочу заверить вас сразу, что этот брак вы не сможете устранить никакими способами, ибо если уж я кого люблю, то это - навсегда.

- Вот как? - удивился он и почему-то вспомнил лицо Мордвинова: широкое, с толстыми губами, с узкими, будто постоянно заспанными глазами.

«Нет, она шутит», - подумал Артем и повторил:

- Вот как?

- Да, вот только так. А сейчас давайте исполним одно из требований устава корабельной службы: снимем пробу с ужина.

- Я, - сказал Артем, - готов помочь в этом деле.

Варя рассмеялась:

– Только вот беда: предмет моих будущих восторгов принес нам одну ложку...

* * *

– Ужин хорош, – сказал Прохор Николаевич. – Только передай коку, чтобы он не боялся класть в суп перец, а то его совсем не чувствуется... Тарелки можешь унести. Давай журнал!

Мордвинов протянул командиру судовой «Журнал пробы», заранее раскрытый на нужной странице.

– Сегодня суббота, – сказал Рябинин. – Та-а-ак... А где же подписи врача и моего помощника?

– Они... еще пробуют.

– Хм... Ну, ладно, я расписываюсь.

Возвращая журнал, он мельком, но пронизательно взглянул в лицо матроса своими светлыми острыми глазами.

– Ты молодец! – неожиданно сказал он, и Яков понял, что командир, обычно скупой на похвалу, поздравляет его с наградой. – Хорошо вел себя в драке с миноносцами!.. Дальномер все время давал точную дистанцию, и наши снаряды ложились как раз на линии немецкого строя... Молодцом!

– Разрешите идти? – спросил Мордвинов, снимая со стола поднос с посудой и захватив под локоть журнал.

– Обожди, – Рябинин, набивая трубку махоркой, что-то обдумывал. – Ты что? – вдруг спросил он. – Болен, не высыпаешься?.. Или раньше салогреем сидел, потому и был здоровым?.. Смотри, как сдал за последнее время! Что же это ты, а?..

– Спасибо, товарищ старший лейтенант. Но я не болен и сплю как положено, а просто... так что-то.

Прохор Николаевич сердито засопел трубкой.

– Я, конечно, не знаю, что и как там у тебя, – сказал он, растягивая слова, и было видно, что ему не очень-то хочется вести этот разговор. – Только советовал бы я тебе, парень, влюбляться на берегу, а не на «Аскольде».

Мордвинов зло блеснул глазами.

– Разрешите идти, товарищ командир? – повторил он.

Рябинин еще раз внимательно взглянул ему в лицо:

– Иди.

И матрос порывисто шагнул в дверь.

Сняв трубку телефона, командир «Аскольда» соединил свою каюту с судовым лазаретом.

– Пеклеванного! – сказал он Вареньке, даже не спрашивая, там помощник или нет, и, когда Артем взял трубку, Прохор Николаевич строго произнес: – Ты, лейтенант, что-то очень часто проверяешь – нет ли пыли в лазарете. Лучше бы поднялся на мостик – скоро подойдет катер контр-адмирала...

Сайманов прибыл на «Аскольд» в половине седьмого. Вместе с ним на палубу патрульного судна поднялись несколько штабных офицеров. Приняв рапорты, контр-адмирал сразу спустился в нижнюю палубу, где был выстроен одетый «по первому сроку» экипаж «Аскольда». Поздоровавшись с матросами и поблагодарив их за службу, Сайманов велел помощнику командира корабля дать команду «смирно».

Пеклеванный громко скомандовал:

– Смиррна-а!..

Контр-адмирал развернул перед собой кожаную папку.

– Слушай приказ, – нараспев, сурово сдвинув брови, сказал он. – «Приказ о награждении личного состава патрульного судна „Аскольд“ орденами и медалями Союза ССР...»

В наступившей тишине слышны были вздохи котлов, за переборкой, где-то глубоко в трюме ухала питьевая донка, да шумело за бортом море.

– «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, – начал читать Сайманов, – за образцовое выполнение боевого задания командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные доблесть и мужество в бою с численно превосходящим противником, встреченным в открытом море при сопровождении союзных транспортов, награждаю орденами и медалями...»

После вручения боевых наград контр-адмирал сказал:

– Товарищи матросы, старшины и офицеры! Партия, народ и правительство высоко оценили ваши первые боевые действия. Эти награды, врученные вам сегодня, можете носить с честью!.. Я надеюсь, – продолжал он, немного помолчав, – что патрульное судно «Аскольд» и впредь будет нести свой вымпел незапятнанным, и, если это потребуется, аскольдовцы будут драться до последнего матроса, а последний матрос будет драться до последней капли крови!..

И аскольдовцы дружно грянули в ответ:

– Уррра-а-а!!!

Сайманов, вскинув руку к фуражке, поднялся по трапу на верхнюю палубу. Рябинин пригласил его остаться на праздничный ужин, но контр-адмирал, поглядев на часы, отказался:

– Мне, старший лейтенант, надо еще встретить МО-216. Беридзе снова побывал в норвежских фиордах...

Когда катер контр-адмирала отошел от борта, Рябинин поднялся в рубку, где его ждала пачка свежих семафоро- и радиogramм. Не желая задерживать команду, он передал по переговорной трубе, чтобы вечер начинали без него. Трубу оставил открытой, и до слуха иногда доносились голоса матросов, звон расставляемой посуды и музыка радиолы.

Он соединил свою каюту с берегом – позвонил жене.

– Ирина, – сказал он, – сегодня я приду ночевать домой. Можешь меня поздравить: мои ребята получили сегодня награды и обалдели от счастья. Мне кажется, кое-кому дали лишнего, а кое-кого, может, и обидели. Но за боевые действия ведь не будешь ставить отметки по пятибалльной системе! Это вопрос сложный...

Она спросила – как он?

– Я? – ответил Рябинин. – Я получил «звездочку». Да, конечно, хорошо. Но мне – только ты не смейся – завидно матросам, которые получили медали Ушакова и Нахимова. Для моряка это как-то торжественнее. Знаешь – цепи, волны, якоря, адмиралы... Ну, ладно. Я приду позже. Пока. Целую...

Он отключил телефон. Встал, одернув на себе китель. Через трубу было слышно, как Самаров провозгласил первый тост за победу, а когда Прохор Николаевич спустился с мостика в кают-компанию, лейтенант Пеклеванный, покрасневшийся от первой рюмки, уже предлагал второй тост «за то, чтобы эти ордена, полученные сегодня, были не последними».

– Это не дело! – перебил его с комингса Рябинин, и все повернулись в его сторону. – Не дело, – повторил он, подходя к столу и наливая себе водки. – Хорошо нам сидеть за этим столом, в тепле, при свете, когда два якоря держат «Аскольд» за грунт, а вспомните, каково в походе бывает?.. То-то, брат, тяжело в походе!.. Я вот сейчас радиogramму одну прочел: в полосе девятибалльного шторма торпедирован наш траулер «Абрек». Помощь придет нескоро, а ведь тонут наши товарищи – рыбаки. Я это не к тому говорю, чтобы выпить за тонущих – глупо было бы! – а вот за тех, кто в море, за тех, кто несет патрульную службу, кто принимает сейчас бой, и за тех, кто сейчас спешит на помощь торпедированному «Абреку», – вот за всех этих и надо нам выпить! Правильно, матросы, коли вы понимаете, что такое моряцкий обычай?..

– Правильно!

– Ну вот и выпьем, – сказал Рябинин, чокнувшись в первую очередь со смущенным лейтенантом...

Скоро в кубрике сделалось шумно, вентиляторы, ревушие из-под трапов, едва успевали вытягивать духоту. Говорить же старались все разом, благо слушателей было куда как достаточно, хоть отбавляй! Однако матросы не забывали подменить вахтенных, чтобы и те приняли участие в вечере. Кочегары – прямо от котлов, в хрустящих засаленных робах, и сигнальщики – прямо с мостика, в промерзших ватниках, – они тоже подсаживались к праздничным столам, потирая руки, радостно восклицали:

– Во, как хорошо-то у нас!..

Пеклеванный занимался тем, что целый вечер смешил Вареньку. Объектом своих насмешек он выбрал самого безобидного человека на судне – штурмана Векшина, а темой острот избрал для себя убранство стола. Дело в том, что из-за отсутствия на «Аскольде» штатной должности интенданта обязанности его исполнял после походов штурман.

– Вы знаете, штурман, – говорил Артем, – вы себе готовите неплохую старость. Будете в отставке директором бакалейной лавки. Только вот беда – воевать скверно. Еще Петр Первый говорил: «Интендантству, кокам, хлебопекам и прочей нечисти во время боя на верхнюю палубу не вылезать, дабы своим мерзким и нечесаным видом не позорить храброго русского воинства...»

Прохор Николаевич совсем по-домашнему, словно в компании хороших друзей, вышел из-за стола и весело сказал:

– А ну-ка, как у нас в Поморье говорили: время – наряду, час красоте... Старшина, выходи!..

Алеша Найденов весело потрянул чубом:

– Эх, была не была!.. Какую?

– Нашу, поморскую.

– Алешка, жги! Ррасце-е-елую! – крикнул боцман.

– Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть, – сказал Найденов и вышел на середину круга. – А ну, гармонист, кто из нас быстрее: ты пальцами или я ногами?..

Он постоял немного, точно загрузив о чем-то, потом не спеша, словно нехотя, стал перебирать ногами и, прищелкивая пальцами, зачастил речитативом:

А гости позваны,

Постели постланы,

А у меня, молодой,

Да муж на промысле...

Шаг сделался чаще, движения быстрее, и вдруг, подавшись вперед, он с гиком пролетел по кругу, почти не касаясь ногами палубы, встряхивая смоляным чубом.

– Цыган, – убежденно сказал Лобадин, – как есть цыган...

Не выдержал боцман и, заплетая скрюченными ревматизмом ногами, пошел вприсядку:

О тоске своей забуду,

Танцевать на пузе буду.

Пузо лопнет – наплевать,

Под бушлатом не видать!..

Его оттащили обратно, посадили за стол.

– Пей, старина, рассказывай о своей Поленьке, только не мешай...

Пеклеванный смотрел на Варю, видел, как загораются азартом ее глаза, и не удивился, когда она встала, присматриваясь к ритму бешеной поморской пляски, – Артема самого подмывало веселье, и он невольно завидовал той суровой простоте в обращении с командой, какой обладал Рябинин.

Ах, все бы танцевала, да ходить уж мочи нет, —

томно и шутливо пропела Варенька, пройдясь по кругу легко, как пава.

Но гармонист уже не выдержал:

– Ой, дайте отдохну! Не успеть моим пальцам за ногами вашими...

– Вальс! Тогда – вальс! – объявила Варенька, хлопнув в ладоши.

Мордвинов, почти весь вечер одиноко простоявший возле радиолы, поставил пластинку. Варенька подхватила его, потащила за собой.

– Ну же! – приказала она. – Вальс!..

– Да не умею я, – взмолился он и сразу же наступил ей на туфли своим здоровенным яловым сапогом. – Видите – не умею...

– А ну тебя, бегемот несчастный. – И Варенька, бросив его, перепорхнула к лейтенанту Пеклеванному. – Вы-то, надеюсь, умеете?

Все как-то невольно расступились, столы отодвинули к рундукам, и пара молодых, оба лейтенанты, взволнованные этим танцем, – танцем, когда каблуки стучат по заклепкам, когда нагибаешься, чтобы не удариться о трубу паропровода, – они танцевали, пока не оборвалась музыка. А музыка, смешно и жалобно взвизгнув, оборвалась на самой середине, и все повернулись в сторону Мордвинова.

– Ну, чего смотрите? – сказал матрос. – Шипит ведь... Надо же иголку сменить!

И Варенька, разругавшись, глубоко дыша, села за стол рядом с Пеклеванным:

- Ух, давно так не плясала! Хотя иллюминаторы бы открыть – душно очень...

- Иллюминаторы открыть нельзя, – ответил Артем, никогда не забывая о том, что он старший офицер. – А вот наверх подняться – можно... Вы согласны?

- Конечно! Мне так душно, что я бы сейчас, кажется, бросилась за борт в ледяную воду...

Артем, рассмеявшись, помог ей преодолеть крутизну трапа, и, провожаемые косым взглядом Мордвинова, они поднялись на верхнюю палубу. Обхватив поручни и откинув назад голову, Варенька сказала:

- Как хорошо!.. Мне так хорошо сегодня, что даже страшно делается. А чего страшно – не знаю...

Медленным взглядом она окинула темное небо, зубцы сопки, подернутую рябью чернильную воду залива и вдруг посмотрела на Пеклеванного так пристально, точно увидела его впервые.

- «Абрек» торпедирован, – неожиданно сказала она глухим, сразу изменившимся голосом. – Вот, наверное, потому и страшно мне... А вам?

- Нет, – коротко ответил Артем. – Война...

- Вы какой-то... – и не договорила.

- Жестокий? – спросил Артем, усмехнувшись.

- Да.

- Это неправда. Я не жестокий.

Он положил руки на леера, и они прогнулись книзу. С кормы раздался чей-то голос:

- Эй, кто там леера трогает?.. Боцманюга опять ругаться будет!..

– Вы сильный, – сказала Варенька. – Рядом с вами я всегда кажусь себе маленькой. Вон, смотрите, какие у вас большие руки.

– Да, – согласился Артем, – руки у меня сильные. Одна женщина во Владивостоке говорила, что если попасть в мои руки, то в них, вероятно, будет уютно. Она шутила, конечно...

– А может, и не шутила, – сказала Варенька.

И, улыбнувшись каким-то своим мыслям, она спустилась в кубрик. А лейтенант, подняв к лицу свои потрескавшиеся от ветра и воды ладони, неожиданно для себя подумал: «Неужели ей может быть уютно в этих руках?..»

Воевать не хочется

Кайса напрасно бравировала своим титулом – для семьи она уже давно была отрезанным ломтем. Имя ее в доме Суттиненов если и произносилось когда-либо, то только шепотом, чтобы – не дай бог! – не услышал его «лесной барон». Причиной такой отцовской ненависти служило неудачное замужество женщины. Причем виноват в этом замужестве был сам барон.

Еще перед «зимней кампанией» он познакомился с одним шведом – владельцем нескольких живописных водопадов. Иностранные туристы валом валили смотреть эти высокие белогривые падуны, шум которых был слышен на пять миль в округе. Старый швед считался богатым человеком, и Суттинен решил сосватать с ним свою дочь.

Кайса с самого начала восстала против этого брака, но в своей отцовской власти барон был неумолим. Состоялось обручение двадцатилетней девушки с богатым владельцем водопадов, который был старше своей невесты почти в три раза. Тогда же к фамилии Кайсы и прибавилась эта приставка – по мужу – Хууванха.

Но вскоре выяснилось, что водопады не обогатили старого шведа, – барон, мечтавший соединить два капитала в один, просто побрезговал мешать свои миллионы с жалкими медяками, набранными у туристов. Закоренелый таваст,

упрямство которых вошло в поговорку, Суттинен-отец не хотел признать своей ошибки и всю вину свалил на голову своей дочери. Когда же барон узнал, что Кайса бросила старого мужа, он лишил ее наследства, переписав завещание на одного лишь сына, тогда еще не лейтенанта, а вянриikki, Рикко Суттинена.

Кайса около года проработала в общественных банях столицы – за грошовую плату она часами парила и массировала мужчин. Разлад с семьей, глупое замужество, стыдная профессия «девушки из народа» – все это вместе взятое плюс тоска по хорошей жизни бросало Кайсу Суттинен-Хууванху из одной крайности в другую. Она рано научилась пить; массируя стариков, раздевалась перед ними за плату догола; сделалась развязной и злобной.

Скоро, повинувшись «голосу времени», она вступила в женскую национал-шовинистическую организацию «Лотта Свяд». Кайса стала носить белый форменный передник. Районная руководительница устроила ее работать на бумажную фабрику. В «зимнюю кампанию» на фронте ей быть не пришлось. Зато она помнит, как членов женской дружины посылали в прифронтовую зону, где пьяные солдаты растаскивали женщин по кустам, и это называлось «единством армии с народом...».

И сейчас, когда она снова встретилась с полковником Юсси Пеккала, ей вдруг стало перед ним мучительно стыдно чего-то, хотя он, казалось бы, и не знал еще о ней ничего дурного. Женщина медленно поднялась, перекинула через плечо свою серую шинелю, со вздохом взялась за чемодан.

– Вы куда? – остановил ее полковник.

– Пойду.

– Зачем?

– Пойду увеличивать число сделанных мною глупостей.

– Вы уже начали делать глупости здесь, – Юсси Пеккала резал хлеб, по-крестьянски бережливо прижимая к груди буханку. – Садитесь, – добавил он, – вам надо поесть...

Кайса смущенно присела на лавку.

- Вы меня, конечно, не ожидали? - спросила она.

- Признаться - нет... Что вы там натворили в Петсамо?

- Ничего, - ответила она, и лицо у нее вдруг сделалось кротким, как у послушной девочки. - Наверное, сказала что-нибудь такое, что немцы и без меня давно знали. Может быть, сказала немного лишнего. И меня просто вытолкали из Лапландии!

Пеккала вложил пуукко в ножны.

- Они это умеют, - сказал он. - Хорошо, что вы отделались так, а не иначе...

Вошел солдат, стуча прикладом заиндевелой с мороза винтовки.

- Херра эверстилуутнанти, - доложил он, - еще одного поймали. Он в деревне штаны менял на картошку... Прикажете ввести его сюда?

- Да, пусть войдет...

Кайса обернулась к дверям: вошел дезертир, рослый карел с могучим разворотом плеч, глаза его были густо усеяны болезненными ячменями. От страшной запущенной простуды дезертир не дышал, а сопел, тяжело и болезненно, в груди его даже что-то громко свистело.

- Выбей сопли! - крикнул Пеккала. - Паразитская морда!

Дезертир послушно повернулся к печке, высморкался в отдушник. Вытирая руку о полу шинели, сказал:

- Я не паразит. Я честно воевал три года!

Пеккала обратился к нему спокойным голосом:

- Ты знаешь, что тебя ждет?

- Знаю. Дайте хотя бы пожрать перед смертью!

- Садись. Покормлю...

Хозяйка внесла чугунок с картошкой, и Кайса поднялась ей навстречу:

- Позвольте мне...

Она поставила чугунок на стол. Пеккала кивнул на «лесного гвардейца»:

- И вот такие, - сказал он, - каждый день... Положите ему побольше. Пусть жрет. Дорога-то у него дальняя!

Дезертир истово перекрестился и отбросил в угол избы железную каску, громыхнувшую об пол. Потом расстегнул мундир, понюхал пар над миской с картофелем.

- Это мне? - спросил он почти весело. - Сейчас ничего не останется...

От солдата нехорошо пахло. Вши густо ползали по его одежде. Кровавые бинты, которыми были перевязаны фурункулы на шее, сваялись в грязный войлок, и весь вид дезертира вызывал тошнотное отвращение.

- Три года, - сказал солдат, громко втянув носом воздух, - целых три года... Плевать на все! Мне уже надоело!

- Нам всем надоело, - ответила Кайса и налила карелу стакан самогонки.

- А тут еще новый договор, - сказал дезертир и выпил. - Что они там, в Хельсинки, совсем обалдели? - Он вытер рот, не поморщился. - Пусть Рюти сам, - добавил солдат, - возьмет у меня винтовку!

- У Рюти, - серьезно ответил Пеккала, - плоскостопие.

- А немцы – дерьмо! – сказал дезертир и придвинул свой пустой стакан к полковнику.

- Весьма похоже, что они стали дерьмом.

- И ваш Рюти – тоже дерьмо! – осмелел перед смертью дезертир, и Пеккала снова подлил ему самогонки.

- А вы почему же мало едите? – спросил он Кайсу.

- Спасибо. Я очень устала.

- Надо есть...

Дезертир подсунул к ней свою миску.

- Еще, – приказал он.

Кайса положила ему еще картошки, облила ее сметаной.

- На здоровье, – сказала она.

- Покойники всегда здоровы, – ответил солдат, и Пеккала засмеялся:

- Ну и дубина же ты, парень!..

После еды дезертир присел на лавку, его разморило от избыточного тепла и сытости. Откинув голову к стене, он задремал, всхлипывая как-то по-детски – обиженно и жалобно. Кайса в нерешительности составила грязные миски одна на другую, смахнула с клеенки крошки.

- Может, мне все-таки уйти? – спросила она.

Пеккала, надев очки, укладывал в брезентовый офицерский портфель какие-то бумаги.

– Не дурите, – почти грубо ответил он. – Куда вы можете уйти? Такой страшный мороз... Оставайтесь здесь, я вернусь вечером, и мы обо всем поговорим. Вы умеете печатать на машинке?

– Да.

– Ну и хорошо. Я думаю, что вам здесь будет неплохо. Останетесь работать в районной канцелярии.

Полковник стал одеваться. Опустив верха кепи, он надвинул его на уши. Хозяйка принесла свежего сена, и начальник района набил его в свои старенькие пьексы.

– Не замерзнете? – спросила Кайса.

– Нет. У меня в санях еще лежит шуба...

Пеккала растолкал заснувшего дезертира:

– Эй, парень! Уже пора...

Натянув под шинель куртку, подбитую беличьими хвостами, полковник вставил в пистолет свежую обойму, дослал в канал ствола патрон и сдвинул предохранитель. «Лесной гвардеец» медленно побледнел и вдруг заплакал – заплакал навзрыд, сотрясаясь плечами и закрыв лицо ладонями. На его серых от грязи руках Кайса заметила татуировку: «ВЕЛИКАЯ СУОМИ», и под надписью плавал черный лебедь Туонеллы...

– Иди, иди! – прикрикнул Пеккала. – Все вы плачете!

Пропустив впереди себя дезертира, он задержался перед женщиной:

– Вы, надеюсь, обождете меня?..

На улице стоял трескучий, лютый мороз. Дезертир уже сидел в санях, продолжая плакать. На снегу валялась его шапка, и конвоир, подняв ее, сказал:

- Надень!

- Плевать, - ответил дезертир.

- Надевай, коли говорят, - подошел Пеккала, садясь рядом с лопарем-возницей. - Надевай, дурак, а то уши потеряешь сразу!

Лошадь, взлягивая ногами рыхлый снег, пошла ходкой рысью. За поселком побежали мимо саней неласковые пейзажи - снежные холмы, синева далеких лесов, плоские кругляши замерзших озер. У кордона возница остановил лошадь и пальцем выковырял у нее из ноздрей сосульки.

- Беда прямо, - сказал лопарь, растирая себе щеки.

- Проедем Катилласелькя - там остановишься, - повелел ему полковник, и дезертир все понял.

- Значит... там? - спросил он, дернувшись.

Пеккала перехватил его за полу шинели, рука его залезла в карман беличьей куртки.

- Хилья, хилья! - угрожающе прошипел он. - Ты, смотри мне, не рыпайся тут, капуста вшивая!

Проехали Катилласелькя, за поворотом начинался дремучий лес, на опушке купались в снегу веселые рябчики. Еще раз остановил лопарь свою лошадь, полез ей в ноздри пальцем.

- Здесь? - спросил он.

- Иди вперед, - показал Пеккала дезертиру в сторону лесной чащобы.

Тот сошел с дороги и сразу же по пояс провалился в сугроб. Полковник тронулся за ним, выдергивая ноги из вязких и глубоких следов-воронок. Деревья уже сомкнулись за их спинами - мрачные дебри шумели на ветру тонкими верхушками елей.

- Ну, чего встал! - крикнул Пеккала. - Иди дальше...

Дезертир уже не плакал - он дико и люто матерился:

- Сволочи... гроб ваш... передавить всех!

Начальник района остановил его и выстрелил в снег.

- Хватит, - сказал он. - Слушай теперь меня. Ты пойдешь сейчас все время прямо и прямо... Понял?

- Зачем? - спросил солдат.

- Там ты увидишь вышку лесничества. От нее сверни влево и топай вдоль ручья, пока не наткнешься на временку. Ты постучи в дверь три раза, и тебе там откроют...

- Кто откроет?

- Твои братья. Вшивая гвардия.

Пар от человеческого дыхания смерзлся в воздухе, и над головами двух разговаривающих людей висло сверкающее облачко изморози. Пеккала подул себе на пальцы, достал пачку сигарет. Отсыпав несколько сигарет из пачки, он протянул их дезертиру:

- На дорогу... Зажигалка есть?

- Подарил конвоиру. Я ведь думал...

- Держи спички, - сказал Пеккала и сурово добавил: - Передай «лесным гвардейцам», чтобы они, сволочи, не мешали мне быть начальником района. Чтобы они, собаки, сидели там тихо и не ползали по деревьям. Иначе - буду ловить и ставить к стенке! Понял?

Дезертир порылся в своих лохмотьях, вытянул наружу золотой медальон.

– Для бабы, херра эверстилуутнанти, – сказал он, просияв счастливой улыбкой. – Это русское золото... Очень прошу вас – возьмите!

Пеккала спрятал пистолет, обозлился:

– Ты – дурак! Тебе повезло: ты уже избавился от всего и останешься жить. А я, что бы ни случилось, я по-прежнему останусь делить судьбу своей армии! И таким, как я, останется одно – погибнуть! Забери это поганое золото...

Возница встретил полковника словами:

– В лесу там стреляли!

– Это я стрелял, – ответил Пеккала...

В сизой морозной дымке тянулась дорога к фронту – там ждали полковника важные дела.

* * *

– Белая! – крикнул солдат, и ракета с шипением взмыла в небо, а навстречу ей с другого конца деревни выплыла, разбрызгивая искры, еще одна белая ракета.

– Зеленая! – крикнул солдат, и две зеленые ракеты снова, прочертив две красивые дымящиеся дуги, описали в небе законченные эллипсы.

– Я не думал, что москали пойдут на переговоры, – сказал переводчик-шюцкоровец.

Юсси Пеккала скинул шубу и остался в одной шинели. Верха кепи он загнул, и его маленькие приплюснутые уши сразу запылали на морозе.

– Переводчика не нужно, – заявил полковник. – Я пойду один. Дайте мне белый флаг...

Помахивая белым флагом, он не спеша тронулся вдоль деревенской улицы. Было удивительно безлюдно, даже не слышался лай собак. Половина деревни была финской, другая половина – русской. Черная тряпка полоскалась над крышей дома старосты, – жители деревни перемерли все до одного от какой-то эпидемической болезни, занесенной войной в эти края, и теперь надо было что-то решать.

С другого конца деревни, навстречу финскому полковнику, шагал советский офицер. Еще издали они, два противника, стали прощупывать друг друга настороженными взглядами. Молодцеватая фигура русского остановилась в нескольких шагах от полковника.

– Капитан Советской Армии Афанасий Керженцев, – назвал он себя. – Уполномочен командованием фронта вести с противной стороной переговоры о временном перемирии для обезвреживания полосы совместных боевых действий!

Назвав в ответ себя, Пеккала слегка поклонился.

– Я надеюсь, – сказал он, – что гуманные соображения, заставившие наше командование обратиться к вашему с просьбой о перемирии, будут понятны русскому уполномоченному?

– У вас побелело ухо, – неожиданно ответил Керженцев. – Лучше всего – шерстяной перчаткой.

– Перчаток никогда не ношу. Попробую снегом.

– Возьмите тогда мою, – предложил советский офицер.

– Благодарю вас, – невольно рассмеялся Пеккала. – Если наши переговоры пойдут на таком же уровне понимания и доброжелательности, то заранее могу вас поздравить с успехом.

– Может быть, – предложил Керженцев, – вы пройдете в наше расположение? Мое командование гарантирует вам полную неприкосновенность личности.

– Да, – согласился Пеккала, – я хочу даже, чтобы эта гарантия была полной, ибо мне, при всем моем уважении к русской каше, не хотелось бы попадать вторично в плен к русским!..

Они тронулись на окраину деревни. Пеккала – слева, Керженцев – справа. Шагали в ногу. Гулко скрипел снег. Солнце кровавым пятном закатывалось за кромку леса.

– Я не думал, что финны умеют шутить, – неуверенно признался русский капитан. – Вы меня извините...

– Что ж, я, наверное, плохой финн: я говорю все, что думаю!..

Мирные переговоры в масштабах небольшой линии фронта прошли быстро и успешно. Пеккала внутренне уже давно подготовил себя к сопротивлению притязаниям русских. И был очень удивлен, когда русский парламентар предложил взять за основу мнение советского командования – отвести русские войска назад, предоставив финнам право самим решать судьбу заразной деревни.

– Мы, – сказал Керженцев, – согласны отойти за рубеж нашей старой оборонительной полосы. Вопросы территориальности нас в данный момент интересуют менее всего!

Пеккала был поражен, откуда у русских такая уверенность в себе? Ведь они запросто дарят финнам большой кусок фронтовой полосы, который стоил крови обеим сторонам!

«У этого русского простая, но славная рожа!» – подумал Пеккала и дал свое согласие.

– Я думаю, – сказал он, – мы на этом решении и остановимся. Хотя... Хотя, честно говоря, мы не рассчитывали на такой исход переговоров!

Когда договор был закреплен, они посмотрели на часы, – прошло всего семнадцать минут с того момента, как они встретились. Эта легкость, с какою был разрешен сложный вопрос, сразу сломала хребет враждебной

напряженности в отношениях, и они оба улыбнулись друг другу.

- Знаете, - сказал капитан Керженцев, - а ведь мы не собираемся долго воевать с вами!

- А мы не собираемся настаивать на обратном.

- Обратное - это ваша гибель.

- Может быть, - кивнул Пеккала. - Экономическая.

- И - политическая, - вкрадчиво закончил русский.

Они обменялись сигаретами, и Пеккала, распахнув куртку, сказал:

- Позвольте мне быть тоже откровенным с вами до конца.

- Даже прошу, - ответил Керженцев.

- Вы, русские, - начал Пеккала, - вы же ведь наивные люди! Вы носитесь, как курица с яйцом, со своими идеями мировой революции...

- Не совсем так, - перебил его Керженцев.

- Простите... И вы очень обижаетесь на тех людей, которым ваш коммунизм не нравится. Вот - я! Я принадлежу к той категории людей, которых на вашей родине принято называть «кулаками». Да, у меня своя усадьба. Пусть и небольшая. Всего тридцать гектаров. Я нанимал до войны батраков. И мне такое положение нравится...

- Мы не вмешиваемся, - ответил Керженцев.

- Кажется, - продолжал Пеккала, - что наши послевоенные отношения должны строиться на уважении. Я не поеду к вам за батраками, а вы не лезьте к нам со своими колхозами. Вы лучше продайте нам апатиты. А мы продадим вам чудесную бумагу и целлюлозу...

Собираясь уходить, Пеккала осторожно спросил:

- Очень хочу спросить... Как ваш Пиетари?

- Говорят, что Ленинград сильно разрушен.

- Это - немцы... Мы, финны, не обстреливали Пиетари.

- Но зато вы, финны, замкнули кольцо блокады с севера, и вы так же ответственны за гибель населения. Как и немцы!

- Только не ставьте меня рядом с немцами, - вырвалось у Пеккала с какой-то надрывной болью.

Обратно он вернулся уже поздно ночью. Окно его комнаты еще светилось. Выбравшись из саней, полковник подошел ближе и заглянул внутрь. Кайса сидела за столом и в каком-то странном оцепенении смотрела перед собой.

«Что мне с ней делать? - подумал он. - Зачем она мне?..»

На столе его ждал ужин, прикрытый газетой. Сухие носки грелись на приступке печи, и, надевая их, Пеккала заметил свежую штопку.

- Вы, кажется, неплохая хозяйка, - заметил он.

- Наверяд ли, - ответила женщина.

- О, и кофе! - обрадовался Пеккала, подвигаясь к столу. - Откуда эта роскошь?

- Я достала в Петсамо. У немцев. Это - бразильский. Он очень хороший...

Мужчина с доброй улыбкой посмотрел на нее, задумался.

- Так, так... Ну, что же мне сказать вам?

- Хорошее, - ответила Кайса. - Мне надоело плохое!

Пеккала отхлебнул кофе, поставил чашку.

– Я сейчас разговаривал с русскими офицерами, – сказал он. – И вот вам хорошее: судя по всему, война скоро должна закончиться!..

Кайса осталась ночевать у полковника.

Нансен и Сережка

Шхуна теперь имела свою классификацию: не просто шхуна – мало ли их на синем море да белом свете! – а научно-исследовательское судно. И дали ей имя ученого – коротко, просто и строго. Так и вывели на черном смоляном борту свинцовыми белилами:

К. М. КНИПОВИЧ

Антип Денисович сам проследил за тем, как писали имя корабля, а потом говорил Ирине Павловне:

– Слышал, слышал об этом профессоре. Ведь он еще до революции здесь бывал. «Андрей Первозванный» – вот на нем он до самой Христиании плавал... Я и Степана Осиповича помню, когда он сюда свой «Ермак» приводил, в Печенге на рейде стояли. Ай да адмирал был!.. Широкий такой, добрый, и все бороду поглаживать любил. И нашим братом не брезгал. Смотришь, сидит со стариками, про льды разговоры ведет... Много я хороших людей знал, а и сволочей видать приходилось. В интервенцию на самого генерала Миллера нарвался однась. Нос у него, как у самого что ни на есть пропащего пьянчуги, кра-а-асный... Три месяца велел меня в кутузке держать за то только, что я перед ним шапчонку свою не сдернул...

Уже в институте, подходя к кабинету, Ирина Павловна услышала голос аспирантки Раисы Галаниной, разговаривавшей по телефону.

– Рябинина? – говорила та. – Ее нет, еще не пришла...

Рябинина поспешно открыла дверь, но было уже поздно.

– Ой, а я повесила трубку, – разочарованно сказала девушка. – Но, очевидно, позвонят еще, потому что вас спрашивают с самого утра.

– А кто?

– Не знаю. Какой-то мужской голос.

– Ну ладно. – Ирина Павловна стала надевать халат. – Я сейчас иду в лабораторию. Стадухин уже там?

– Нет, пошел в мастерскую, где вы заказывали метки для кольцевания рыбы. – И, опечаленно вздохнув, добавила: – А я с ним опять поругалась.

– Поругалась?.. Из-за чего?

– А потому, Ирина Павловна, что снова зашел спор об экспедиции.

– Ну и что же?

– Юрка, такой противный, стал говорить, что основные рыбные банки уже выявлены и цель экспедиции, очевидно, сведется к простому обзору фауны малоизученных районов моря.

– Ты сначала скажи, – перебила ее Рябинина, – что ответила Стадухину?

– Я устала уже отвечать. Я прочитала ему...

Галанина подошла к шкафу, сняла с полки толстую книгу «В страну будущего». Перелистав страницы, почти наизусть прочитала пророческие слова Фритъофа Нансена – смелого и тонкого исследователя полярных морей:

– «Встречей разветвлений Гольфстрима с холодными северными водами и вызываемым этой причиной постоянным бурлением моря до самого дна обуславливается богатая животная жизнь в бассейне и связанные с нею большие

промыслы...»

– Ну, ты его убедила?

– Это не я убедила его, Ирина Павловна, это Фритьоф Нансен убедил его. И то не совсем. Юрка упрям, он теперь обещает принести какую-то редкую, дореволюционную статью Книповича...

– Я знаю, о какой статье он говорит. Только, насколько мне помнится, в ней доказывается то, что предполагал Нансен... Ну-ка, дай мне книгу!

На обложке был изображен матрос в вязаной шапочке; он вращал корабельный штурвал и всматривался вдаль, а вдали вставала неведомая земля, и низкое полярное солнце освещало вершушки волн.

Ирина Павловна улыбнулась – этот рисунок напомнил ей о скором выходе в море – и сказала:

– Знаешь, к экспедиции все готово. Шхуна ждет только одного – попутного ветра!..

Снова зазвонил телефон, Ирина Павловна, отложив книгу, взяла трубку.

– Да, Рябинина слушает, – сказала она, и вдруг ее брови дрогнули, лицо стало растерянным. – Да... да... я приеду... Номер семь?.. Хорошо...

Она хотела повесить трубку, но от волнения никак не могла попасть ею на рычажок и положила трубку прямо на стол.

Девушка поняла, что случилась какая-то беда, и бросилась к Рябининой, обхватила ее шею руками:

– Ирина Павловна, дорогая!.. Неужели что-нибудь с мужем?..

– Сережка, – одним словом ответила та и направилась к двери, на ходу срывая халат.

* * *

Когда рейсовый пароходик отвалил от стенки причала, она поднялась из каюты на палубу. Нетерпеливо расхаживая, она часто бросала взгляды на мостик, точно просила: «Да ну же, быстрее!» Но капитан, стоя у парусинового обвеса, равнодушно набивал трубку, и ему, казалось, не было никакого дела до этой женщины и до ее нетерпения. Он даже иногда замедлял скорость своего судна, уступая дорогу военным кораблям, и стрелка машинного телеграфа – Ирина Павловна видела это с палубы – ни разу не перескочила выше среднего хода.

В высоком вестибюле военно-морского госпиталя ей выдали халат, почти такой же, какой она оставила в своем кабинете. Хватаясь за перила, она поднималась по лестнице. Вот и коридор третьего этажа.

– Скажите, где палата номер семь?

Пробегавшая мимо сестра махнула рукой в конец коридора:

– А вот – прямо!

И при мысли, что сейчас она его увидит, Ирина Павловна даже пошатнулась. Боялась увидеть его страдающим, боялась увидеть недвижимым, страшилась узнать правду.

Двери, двери, двери... Вот палата пятнадцатая, а он лежит в седьмой. Четырнадцатая... тринадцатая... десятая... восьмая... Теперь уже скоро, скоро!.. Боже мой, любила ли она его когда-нибудь так, как любит сейчас?

И вот седьмая: она вошла в палату с крепко закрытыми глазами, как входят в камеру пыток, – вошла, уже готовая к самому страшному.

– Мама! – резанул ей уши родной мальчишеский голос, и по тому, как он прозвучал – звонко и весело, – она поняла: бояться уже нечего. И тогда она открыла глаза, наполненные самыми светлыми слезами – слезами радости.

Сережка стоял в углу палаты возле низенькой койки, застланной серым шерстяным одеялом, и еще издали протягивал к ней руки:

– Мама, иди сюда!..

Она подбежала к нему:

– Сереженька! – и прижала к себе его голову.

Он грубовато высвободился из ее объятий, и по одному этому Ирина Павловна поняла, как он вырос и возмужал за время разлуки. Раньше сам по-мальчишески тянулся к ней, теперь же стыдился, наверное, товарищей по палате, а вдруг подумают: «Сынок-то маменькин...» И даже голос у него изменился: стал глуше и грубее, как у отца.

– А вот, мама, познакомься. Ко мне пришли.

Тут только она заметила, что навестила сына не первой. Высокий усатый матрос в не по росту подобранном халате, рукава которого едва достигали локтей, встал перед женщиной, бодро выпятив грудь, и отрапортовал:

– Боцман торпедного катера Тарас Непомнящий. Заявился, значит, к сынку вашему.

– Спасибо, – она пожала ему руку. – Вы, наверное, очень дружны с Сережей?

Боцман ласково потрепал юношу по плечу, но при этом так сильно, что тот даже закачался.

– Так ваш сынок, – сказал старшина, – почти, можно сказать, от «кондрашки» меня спас. Он парень что надо.

Ирина Павловна в недоумении перевела взгляд с одного на другого: «Как мог Сережка спасти такого детину?»

А боцман продолжал:

– О вашем сынке уже на всей бригаде катеров знают. Даже контр-адмирал Сайманов о нем расспрашивал. Да пусть он сам о себе расскажет.

– Господи! Как ты попал-то сюда?.. Что с тобой?.. Здоров?

Сережка рассмеялся:

– Ну а что мне сделается!

Рассказывать о себе не стал. Отделался короткими фразами:

– Был кочегаром. На транспорте. Попали в шторм. Меня смыло. Ну, а потом на миноносец перекочевал. Оттуда – на торпедный катер...

Он умалчивал о многом, точно боясь, что истинную правду могут принять за вымысел. Тогда за него стал рассказывать боцман. Но Ирина Павловна почти не слушала, вся поглощенная другим. Она как-то по-иному посмотрела на сына и вдруг, неожиданно для самой себя, обнаружила в нем большую перемену. Она увидела его не таким, каким он казался ей раньше. Уже не мальчик сидел перед ней. И эта уверенность во взгляде, и эти сурово поджатые, потемневшие от ветра губы, и этот скуповато переданный рассказ, в котором нет и тени мальчишеского бахвальства, – все говорило о мужестве, зрелости, разуме...

– Вот так и живу, – говорил Сережка, поблескивая серыми глазами. – Надоело на койке валяться, да что подделаешь! Тут есть и подольше моего лежат. Недавно вот аскольдовский Русланов выписался. А до него, вон на той койке, лейтенант Ярцев лежал. Вот, мама, человек так человек! Начнет рассказывать – в нашу палату со всего госпиталя собираются, даже врачи идут послушать... А теперь народ все новый. Я уж с этими особенно и не сближаюсь, а то потом расставаться тяжело. Скоро на выписку...

– Да ты не торопись. Наша служба такая – здоровые люди требуются, – сказал старшина, и женщина вдруг поняла, что между ними уже давно все решено. Решено без ее участия, как будто не она его вырастила, воспитала...

Она вышла из госпиталя вместе с Непомнящим. Тарас Григорьевич сразу закурил, по-матросски держа папиросу в кулаке. Долго молчали. Под ногами скрипели деревянные мостки. С моря доносилось глухое мычание радиомаяков.

Коснувшись грубого сукна шинели, Ирина Павловна сказала:

– Я благодарна вам за то, что вы так к нему относитесь. Как к равному, – он это любит. Мне было приятно услышать, что вы назвали его «сынком». Тарас Григорьевич, скажу вам прямо, как мать: море отнимает у меня самое дорогое в моей жизни – Сережку. Он еще очень молод. И горяч не в меру. Ради бога, поберегите его, если можно...

В ожидании рейсового парохода она еще долго блуждала по улицам, раздумывая о Сережке. Она вспоминала, как он перед прощанием сказал ей: «Мама, жизнь начинается, только ты не мешай мне!» – и улыбалась, видя перед собой его лицо – смелое, открытое, совсем еще юное. Что ж, она не будет ему мешать!

Ветер кружил поземку. На углу одной улицы, подняв воротники, толпились люди возле недавно вывешенной газеты. Ирина Павловна подошла ближе. В глаза бросилось знакомое имя – Нансен. Шведская газета «Нью даглигт аллеханда» сообщала, что немецкие оккупационные власти надругались над национальной гордостью норвежского народа – кораблем «Фрам», на котором отважный полярный исследователь Фритьоф Нансен пробивался во льдах к Северному полюсу. Гитлеровцы сорвали с мачты исторического корабля национальные флаги и осквернили флаг, вышитый руками жены Нансена. Далее в статье говорилось о том, что гитлеровцы пытаются угнать «Фрам» в Германию.

Ирина Павловна отошла от газеты. «Будь жив Нансен, – решила она, – и он сражался бы с оружием в руках. Смелое сердце и светлый ум... Разве они посмотрят на флаг моей научной экспедиции, если рвут и бесчестят флаги, развевавшиеся когда-то над славной головой Фритьофа?..»

Но даже эта весть не могла развеять светлого настроения Рябининой. Она сегодня видела сына и как-то сразу помолодела. Хотелось верить только в хорошее. Сейчас она шла по улицам, и ей казалось, что все-все в этом мире, и даже эта история с «Фрамом», окончится благополучно.

«Свинья будет зарезана»

Сверре Дельвик часто вспоминал, как это случилось. Однажды гитлеровский самолет, не требуя даже разрешения на посадку, приземлился на аэродроме Форнебо, близ столицы. Немцы горохом высыпали из кабины и стали спокойно щелкать фотоаппаратами. Норвежцы попросили удалиться непрошенных гостей. И немцы, посмеиваясь, сели обратно в самолет и улетели. Все это было сделано среди бела дня с такой наглой самоуверенностью, что пора бы, казалось, правительству и призадуматься.

Но – нет: правительство получило затем приглашение немецкого посланника на просмотр нового фильма, посвященного теме борьбы Германии за мир. Надев смокинги и повязав белые галстуки, министры явились в немецкое посольство, где их вниманию был предложен фильм, в котором с ужасающими подробностями была показана бомбардировка Варшавы. По окончании фильма германский посол объяснил гостям, что, в целях сохранения мира, такая же судьба постигнет и любую иную державу, которая не пожелает, чтобы Германия защитила ее от Советов и Англии.

А потом Сверре Дельвику пришлось взяться за винтовку. Вернее – сначала даже за вилы, ибо оружейные арсеналы были захвачены «пепперманами» – квислинговцами. На Эльвегарденском полигоне под Нарвиком осколком снаряда ему оторвало руку. Последнее, что он запомнил, это был капитан Ибсен, внук знаменитого писателя, который отстреливался от наседавших горных егерей и тирольцев.

Залечив ранение, Дельвик вернулся к своей работе газетного редактора. Норвежская компартия еще не была запрещена, и он не скрывал своей принадлежности к числу коммунистов. Газета называлась «Тиденс Тёгн», говорить в ней приходилось больше намеками. 24 декабря 1940 года все кончилось очень просто. Вошли три гестаповца и, приставив к груди Дельвика пистолеты, велели отдать ключи от редакции и остановить работу типографии. На вопрос Дельвика – чем это вызвано – один нацист ответил: «Не притворяйся! Мы же знаем, что ты не веришь в победу фюрера!»

Дельвик отдал ключи, пожал руки своих сотрудников и под конвоем гестапо отправился в тюрьму на Моллергаттен, дом 19. Там с него сняли подтяжки и отобрали галстук. «А то еще повесишься, дохлятина!» – так объявили ему тюремщики. На допросах его били плетью. От пяти до десяти ударов. Иногда вставляли между пальцев карандаш и ломали кости. «Вы, норвежцы, – сказал ему однажды палач, – не знаете нашей немецкой тюремной культуры. Мы

научим вас...»

«Тюремная культура» – так и назвал Дельвик свою первую статью, когда ему удалось вырваться из застенка и бежать в Англию. Он поведал в ней о Георге Свенсоне и Генрихе Кристиансене – двух редакторах норвежских газет, которые умерли в гестапо от пыток. Один случай решил судьбу Дельвика. Ему рассказали страшную вещь.

Немцы арестовали молодую актрису Альму Петерсон. Дельвик хорошо знал эту девушку, – он писал о ее чудесной игре, когда она еще только появилась на экране. «Добропорядочные» культуртрегеры, насаждающие «новый порядок» в Европе, заставляли девушку вставать на колени, и гестаповцы мочились ей в рот. Дельвик спросил только имена. Ему назвали: Курт Шляхтинг, Артур Бессемер, Ральф Кеппенбрунк. Он покинул приютившую его страну, вернулся на родину. Юная Петерсон сошла с ума, но зато на фашистском кладбище прибавилось еще три могилы – «2347», «2348» и «2349»; стрелять можно метко и одной рукой.

Среди трехсот подпольных газет появилась в скором времени еще одна, которую стал издавать Дельвик. Он выпускал ее на четвертушке бумаги от одного до пяти раз в неделю. Название этой газеты состояло из букв «S.S.S.» – трех заглавных букв известной норвежской поговорки: «Свинья будет зарезана!» О какой свинье шла речь – это было понятно каждому норвежцу...

После подпольной работы на рудниках в Элливаре Дельвик недолго прожил у Руальда Кальдевина – пастора в провинции Финмаркен, – ждал отряд «коммандос», составленный Британским адмиралтейством из норвежских парней-китобоев, которые должны были взорвать немецкий завод «тяжелой воды», секретно работавший в горах (немцы уже тогда всю трудились над расщеплением атомного ядра). Дельвик все подготовил для успешного ведения операции, он даже заручился согласием одной русской эмигрантки, Виктории Михайловны Бакке[2 - Виктория Михайловна Бакке известна сейчас в Норвегии как крупнейший музыкальный деятель страны.], которая должна была принять в своем доме раненых. Но... океан выбросил несколько трупов в резиновых куртках, а в одной бухте Дельвик увидел на камнях полусожженный остов бота. Немецкая разведка сработала хорошо. И норвежскому коммунисту пришлось вернуться в Осло...

Есть два Осло – старый и новый город. Дельвик издавна любил древнюю Христианию. Здесь теснились бедные кварталы. Из окна мансарды виднелись островерхие черепичные крыши, на улицах «эстканта» было легче затеряться в густой толпе рабочих блуз, рыбацких свитеров и грубых курток ремесленников.

Дельвик приехал в Осло, втайне поселился в рыбном подвале на одной из улочек портового «эстканта», вдоль которой протекал зловонный ручей фабричных нечистот.

О том, что он находится в Осло, знали в эти дни только два человека – крупный финансовый воротила Одт Фрокнер, человек с большими связями и потому очень полезный движению Сопротивления, и еще с Дельвиком должна была встретиться фрекен Арчер, известная в подполье по своей партийной кличке «товарищ Улава», – от этой женщины сейчас зависело очень многое.

Дельвик покинул свое жилище вечером. Голубой трамвайчик, дребезжа на поворотах, повез его в сторону «вестканта». Проезжая мимо королевского дворца, он сверил свои часы с башенными часами замка. Нет, он не опоздает. Выскочив из трамвая напротив фешенебельного пансиона для холостых мужчин, он сразу же заскочил в проезжавшую мимо машину, за рулем которой сидел упитанный, благополучный буржуа.

– У нас еще есть время, – сказал Фрокнер, передавая Дельвику пачку сигарет. – Вам не угодно заглянуть на выставку зимних цветов? Говорят, что это какое-то чудо...

* * *

– ...При поимке вооруженного партизана следует отбросить все соображения гуманности. Допрос должен вестись следующим образом. Записали?.. Нанося поочередно удары кулаком или плетью, после каждого удара надо повторять: «Говори, говори, говори!» Тональность голоса при этом должна быть строгой и беспощадной. Преступника надо уверить в бесполезности молчания. Естественно, такой человек после допроса немедленно ликвидируется специальными людьми, по возможности в безлюдном месте, чтобы не давать повода населению к враждебным для нашей армии слухам... Простите, фрекен, я не слишком быстро диктую?

Девушка, сидевшая за машинкой, кокетливо улыбнулась:

- Нет. Я вполне успеваю за вами.

Начальник отдела «G.F.P.», еще молодой и бравого вида гестаповец, остановился возле окна. «Так!» - сказал он, брякнув по стеклу пальцем. А за окном, утопавшая в сиреневых сумерках, лежала столица Норвегии; вершина горы Санкт-Хугген виднелась на севере, с залива Пиппер-викен тянуло над иглами кирок мглой, туманом и сыростью.

- Итак, продолжаю... Появление бандитской шайки русских в провинции Финмаркен, этом наиболее важном для нас районе, а также недавний побег двенадцати военнопленных из трудового лагеря Эльвебаккен должны развязать руки отрядам полевой полиции. Глупая гибель штандартенфюрера дивизии «Ваффен-СС» Рудольфа Беккера, как следствие беспечности нашей охраны на «Государственной трассе 50», должна послужить серьезным уроком для нас и... Пожалуйста, прочтите, фрекен!

Девушка скороговоркой прочла написанное, поправила тоненькие складки на своих военных брючках.

- По-моему, - сказала она, - просто здорово! Вы молодец, Курт...

- Сойдет, - ухмыльнулся гестаповец. - Там только не нравится мне «глупая гибель». Она, конечно, была глупой, но вы это зачеркните и поставьте - «трагическая»... А кстати, фрекен, вчера на Карл-Иоганнгате магистрат открыл выставку зимних цветов. Вам не угодно составить мне компанию? Говорят, сам фельдмаршал Геринг прислал в подарок норвежцам кадучку тюльпанов из своей оранжереи. Это его любимые цветы - тюльпаны. Помню, что в Голландии он даже запретил нам бомбить знаменитые тюльпановые поля...

Отломив от плитки кусочек шоколада, девушка положила его на кончик розового язычка. Она сидела перед гестаповцем на круглом стульчике - такая плотненькая, чистенькая, напомаженная, - ну просто прелесть девчонка!

- Курт, - сказала она, - возьмите меня на эту выставку, и я вас вечером поцелую!..

Закончив работу, она собрала бумаги и закрыла ящик стола. Ключ в замке отщелкал три раза. Цепь замкнулась, и аппарат сработал. Отличный аппарат, над устройством которого потрудился сам профессор Эккелан, немалая величина в области электрофизики. Девушке осталось только надвинуть набок пилотку «Женской вспомогательной службы Германии» и подмазать перед зеркалом губы.

- Итак, до завтра, - сказала она гестаповцу. - Я тоже очень люблю тюльпаны!..

Возле парка ее ждала машина. Сверре Дельвик, еще издали заметив девушку, предусмотрительно приоткрыл дверцу.

- Ключ? - спросил он.

- Я его оставила в замке.

- Хорошо...

Товарищ Улава прильнула щекой к спинке плюшевого сиденья, на тонкой ее шее билась голубоватая жилка.

- Сигарету? - предложил Дельвик.

Одт Фрокнер, направляя машину в кривой и темный переулок, протянул ей коробку авиационных ампул.

- Это лучше действует, - сказал он. - Немцы дают их своим «летающим птеродактилям», когда они вылетают на бомбежку. Сразу успокаивает нервы!..

- Всего двадцать восемь пакетов взрывчатки, - сказала фрекен Арчер и раздавила на зубах ампулу. - Больше пронести не удалось. Провода подключены намертво. Ошибки быть не может.

- Совещание в восемь? - спросил Дельвик.

- Да, ровно в восемь. Будут присутствовать два личных секретаря Квислинга. Зейдлица я видела сегодня последний раз. Он пригласил меня на выставку

зимних цветов.

– И Зейдлиц?

– Да. Тот самый. Он много пролил норвежской крови...

Они уже выехали за черту города, когда где-то вдалеке громыхнул взрыв. Фрокнер остановил машину, все посмотрели назад. Над Осло, по краям черепичных крыш, отсвечивало желтое пламя. Здание гестапо, расколотое взрывом, горело потом два дня.

Так ответили норвежские патриоты на попытку оккупантов угнать в Германию гордость нации – корабль Фритьофа Нансена «Фрам»!..

* * *

Через несколько дней они сидели на молочной ферме вблизи шведской границы. Астри Арчер, покрасневшая с мороза, пила густую простоквашу, Дельвик смазывал лыжи. Это были короткие гибкие лыжи, которыми пользовались горные проводники спасательных станций.

– Ну, – сказал Дельвик, – решайте. За этим лесом вам уже ничто не будет грозить. Поверьте, что в Осло вам нельзя оставаться.

– Нет, – ответила товарищ Улава.

– Тогда, – настаивал Дельвик, – я вам дам адрес одного засольщика с рыбного холодильника в Бергене. Он уже давно переправляет наших людей в Англию или в Россию...

– Нет, я останусь здесь. Мне хочется отыскать брата!

Она доела простоквашу, посмотрела в окно: мимо фермы, направляясь в сторону пограничных кордонов, гуськом проползли мотоциклы с солдатами.

– Вы не боитесь? – спросила она.

Дельвик рассеянно отозвался:

- О чем вы?

- Ну, вот... переходить границу именно здесь?

- Вы забываете об одной вещи, - Дельвик постучал о край стола протезом руки. - Мое спасение только в ногах. А за этим лесом гора сама несет лыжника в Швецию!

- Вы дождетесь сумерек?

- Нет, выйду пораньше...

- Там, - Арчер неопределенно махнула рукой, - появились в Финмаркене партизаны. Вы будете стараться их встретить?

- Попробую. Хотя... Знаете, - неожиданно произнес он, - вам надо уехать. Вставайте на лыжи, пойдем рядом. Вашего брата я видел недавно. Да, случайно. В Киркенесском порту...

- Почему же вы не сказали мне это сразу?

- Просто не хотел вас огорчать лишним напоминанием... Оскар был в одежде каторжника, но стоял на мостике угольной мотобаржи. И даже - вы сейчас удивитесь!.. - он отдавал команды. Очевидно, немцы используют его как опытного штурмана.

- Что ж, - помолчав, не сразу отозвалась женщина. - Вы принесли хорошую весть. Оскар выдержал три года каторги. Правда, осталось еще семь. Но... русские наступают быстро! Я его хочу видеть. Если я только пойму, что работать здесь мне уже невозможно, я тоже переберусь к вам в Финмаркен.

- Хорошо, фрекен. Меня вы найдете через пастора. А мне уже пора. Надо спешить. Свинья должна быть зарезана...

Вошел хозяин фермы – степенный пожилой крестьянин, женатый на русской женщине, которую он вывез из Петрограда еще до революции в России. Оккупация Норвегии совсем запутала старика: один из его сыновей сделался «пепперманом» и пошел служить Квислингу, а немцы предложили отцу развестись со старухой женой.

– Это безнравственно, – говорил старик, – разводиться с женой на старости лет. Что скажет король, когда он вернется?..

Ненависть к немцам, любовь к жене и уважение к королю, который сейчас находился в Лондоне, – все это вместе взятое заставило старика выбрать для себя единственно правильный путь: он стал помогать борцам Сопротивления.

– Сегодня, – сказал крестьянин, раздвигая груды молочных бидонов, – опять будет говорить король. Ему сейчас так же скверно, как и нам всем. Надо послушать старика...

Передачу из Лондона они поймали только на середине. Усталым голосом король говорил:

– Я благодарю всех, кто сражается сейчас, выполняя свой долг перед родиной. Пусть каждый норвежец почувствует рядом со своим плечом мужественное плечо своего друга – русского солдата, который идет к нам на помощь. Пусть же первый русский солдат, шагнувший на нашу священную землю, станет лучшим вашим гостем! И я прошу вас чтить память героев, которые отдали свою жизнь за нашу родину. Да защитит Господь нашу прекрасную страну!..

Король тяжело вздохнул, и на смену его речи вступила торжественная музыка норвежского гимна:

Мы любим этот край, его лугов простор,
леса, граниты скал над пенящейся влагой.
Как сладостен приют меж неприступных гор
сердцам людей, пылающих отвагой!..

– Я хочу проститься под эту музыку, – сказал Дельвик.

Вскоре он уже летел на лыжах по длинному и ровному, как доска, горному спуску, окончание которого терялось где-то в морозной дымке. Стадо оленей паслось в отдалении около леска, обозначившись на белом горизонте группами серых точек. Со стороны немецких кордонов доносилась тихая игра на флейте.

Горный уклон быстро катил его в глубину пограничной долины, скорость бега стремительно возрастала. Из-под острых лыжных лезвий, срезанная на поворотах, тонкими пластами вылетала снежная пыль.

Шорох скольжения постепенно переходил в тонкий протяжный свист. Это был уже не бег, а полет, почти парение...

Первая очередь из автомата прошла над самой головой. Забегая наперерез лыжнику, неслись под уклон две олени упряжки. «Заметили!» Дельвик пригнулся на корточки, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. С левой стороны он увидел немецкого офицера на лыжах. Офицер что-то кричал ему, ловко выписывая на снегу гигантские зигзаги.

Пограничные столбы уже были невдалеке, и немцы усилили огонь. Дельвик не стал тратить время на увертывание от пуль, не стал петлять зайцем – он раскинул руки для равновесия и продолжал парить в стремительном спуске. Еще несколько очередей, мимо пронеслись пограничные знаки, и – хлоп! – он кубарем скатился под ноги весело хохотавших пограничников. Шведские солдаты уже давно наблюдали за этой погоней, и у них даже работал тотализатор.

– Вставай, парень, – сказал один из них, помогая Дельвику подняться. – Я выиграл на тебе четыре бутылки пива. Пойдем в пещеру и разопьем их вместе...

Немцы в страшном разгоне едва не перескочили границу и теперь стояли в двух шагах рядом, наблюдая за Дельвиком. Норвежец отряхнулся от снега, помахал рукой офицеру.

– Я еще вернусь! – сказал он. – Вы только не путайте меня с контрабандистом. Я вернусь, и... Свинья будет зарезана!

Немецкий офицер рывком пересек границу, воткнул в снег лыжные палки.

– Я только до ларька, – сказал он шведским пограничникам. – Мне хотелось бы купить сигарет!

И, проскользив на лыжах мимо Дельвика, он злобно бросил ему прямо в лицо:

– Твое счастье! В другой раз не уйдешь...

Ночь застала Дельвика уже в купе полярного экспресса, с воем и грохотом летевшего на север в сторону озера Турне-Треск. Где-то там (он еще не знал – где) Дельвику суждено снова перейти границу, чтобы выбраться в провинцию Финмаркен и встретиться с русским другом.

Как сладостен приют меж неприступных гор сердцам людей, пылающих отвагой!..

Глава пятая

Гагара прокричала

Три дня и три ночи подряд дул отжимной стужевей-сиверко. Ветряной взводень бился о берег, перекатывая камни-окатыши, гальку-орешник. Мороз потрескивал в звонком дереве мачт, порошил реи инеем, отчего казались они при луне чисто серебряными. Шхуна моталась на волнах, жалобно звякая якорной цепью.

Три дня и три ночи не вылезал из своей каюты старый шкипер, справляя по традиции поморов отвальную. На четвертые сутки, уже к вечеру, он вылез на палубу и, пройдя на нос корабля, разбил об форштевень бутылку с недопитой водкой.

– Славному кораблю – славное плавание, – торжественно объявил он и рассмеялся. – Больше я, дочка, не пью, потому как в море шхуну вести надо.

- Попутного ветра-то ведь еще нет?

- Только бы в океан, дочка, выйти, а там ветров что веников в бане – любой выбирай, чем ядреней – тем слаще. А сейчас нам нужна пособная поветерь. Стужевей-сиверко, вот увидишь, спадет за ночь, шалоник парус надует.

- Это что, точный прогноз погоды? – недоверчиво спросила Ирина Павловна.

- А ты разве не слышишь? Гагара за морем ветер вещает...

Рябинина прислушалась: ночная птица кричала где-то во тьме. Через полчаса штурман действительно принес метеосводку.

- Ирина Павловна, ветер к утру меняет направление...

А в полдень матросы уже разбежались по реям, поставили паруса, и шхуна, качнувшись, легко взбежала на первую волну. Ветер засвистел в ушах, в лицо ударило пеной – впереди распахивался океан.

- Пошла Настя по напастям!..

На мостике стояли Аркаша Малявко, Ирина Павловна и Антип Денисович. Штурман рассказывал о появлении немецких подлодок на коммуникациях. Шкипер, разворачивая огромный блещущий медью штурвал, смеялся:

- Еще при царе Алексее Михайловиче поморы писали: «И которую дорогу бог устроил – великое море-окиян, и тую дорогу как мочно затворити?» Разве море-океан затворишь? Еще не придумал Гитлер такого замка...

Внизу, на палубе, работали сыновья Антипа Денисовича, ловко разбираясь в путанице снастей и блоков. Ирина Павловна видела сверху одни их склоненные могучие спины, обтянутые штормовыми куртками.

А шкипер, оглядывая взволнованный простор, счастливо смеялся. И когда шальная волна захлестнула палубу шхуны, окатив матросов ледяным гребнем, он запел дребезжащим старческим голосом:

Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота – и конца не знай,
От нашей Колы, от Мурманской...

Скрипел штурвал. Гудела за бортом вода. Таяли вдали крики чаек. И только ворон морской – черная птица баклан – еще долго парил над мачтами.

* * *

Вахтанг Беридзе навтыяжку стоял перед контр-адмиралом. Не мигал причем. Был очень серьезным.

– Товарищ старший лейтенант, – сказал Сайманов, – расскажите, как вы украли баржу со спиртом!

Баржа со спиртом была немецкой. Она болталась где-то в море, брошенная немцами. Один тральщик ущучил ее во время дозора и прибуксировал в базу. Поставили баржу на рейде. В рубку запихнули старика сторожа с берданкой. От лихой напасти. А вчера баржа эта пропала. Вместе с ней исчез куда-то и МО под командой Беридзе. Флот не знал, что и думать. Затащили баржу куда-нибудь в тихую бухту. Выпьют нескоро. Так шутили матросы.

– Товарищ контр-адмирал, вас неправильно информировали. Мы баржу не воровали. Ветер ее среди ночи сорвал с «бочки», понес на камни. Сторож, конечно, дрыхнет. Раздумывать тут некогда. Вот мы ее и подцепили...

– Украли, – поправил контр-адмирал.

– Якорей на барже нет, – продолжал Беридзе. – Ее тащит. Мы тогда и решили спасти народное достояние. Затянули буксир, дали обороты. Сторож, конечно, орет. Ему, конечно, кажется, что его тоже украли. И приткнули баржу к отмели в Тоне Тювиной. Все в порядке.

– А зачем сторожа связали? – спросил Сайманов, слегка улыбнувшись.

- Так он же, старый дурак, стрелять начал! Мы его спасаем от беды, а он из берданки по нам дробью лупит. Никакого понимания обстановки!

- Та-ак, - откровенно рассмеялся контр-адмирал. - Но вы-то обстановку сразу оценили. Люк отвинтили и давай спирт к себе на борт «охотника» перекачивать! Сколько успели перекачать?

- Два ведра, - печально вздохнул Беридзе. - Причем виноват только я. Это я велел сделать. Сейчас морозы сильные, на походе приборы засолились. Спирт пригодится!

- Два ведра? - спросил контр-адмирал.

- Два.

- Для протирки приборов?

- Так точно. У нас матчасть всегда в порядке...

Сайманов взял со стола лист бумаги, густо исписанный корявым безграмотным почерком. «Видишь?» - спросил. Вахтанг успел прочесть только одну фразу: «А еще надо мною змывались и говорили, что в море стащут вместях с баржою и вернутся, кады войны не станет...»

- Жалоба на тебя от этого сторожа. Проверить, сколько было в барже спирту и сколько осталось, портовики сейчас не могут. Ты говоришь - два ведра взял, и я тебе, старший лейтенант, верю! Ты не совершь, я знаю. И пить команде не дал - это я тоже знаю. Только партизанщина мне твоя не нравится...

- Да, - согласился Вахтанг, - нехорошо получилось. Два ведра спирта взяли, теперь два ведра крови прольем!

- Не говори глупостей, - обрезал его Сайманов. - Как у тебя с боезапасом?

- Полный комплект.

– А настроение команды?

– Как всегда.

– А как всегда?

– Хорошо, товарищ контр-адмирал. Скучать некогда...

– Скучать я вам и не дам!

Сайманов встал, легко шагнул к карте, висевшей на стене.

– А дело вот в чем, – сказал он, проследив глазами воображаемый курс от Мурманска до границы замерзания океана. – Сегодня вышло в море научно-исследовательское судно «Книпович». Противник последнее время проявляет подозрительную активность на промысловых коммуникациях. Очевидно, немцы хотят лишить наш рыболовный флот точного прогноза условий промысла на будущее. Вашему катеру, – продолжал Сайманов уже тоном строго официальным, – дается боевое задание: отконвоировать судно экспедиции до Рябининской банки. В случае появления кораблей противника вступить с ними в бой и любой ценой оградить шхуну... Конвоировать шхуну придется не в обычном порядке. Надо постоянно держаться от шхуны на таком расстоянии, чтобы с ее борта не заметили вашего катера. Вы понимаете, зачем это нужно?

– Так точно, товарищ контр-адмирал, догадываюсь. Конвой, неотступно следующий рядом, может насторожить участников экспедиции. А нам, очевидно, надо, чтобы они целиком отдавались своей работе и были бы спокойны на все время пути шхуны...

Через полчаса МО-216, прижимаясь к берегам, вышел в открытый океан, нагоняя ушедшую вперед шхуну.

– Сигнальщики, – приказал Вахтанг, – усилить наблюдение за морем!..

– Есть, смотрим!

* * *

Ветер задувал в жалейку. Растворив паруса бабочкой, бежала по океану приневестившаяся шхуна. День бежит, ночь бежит – журчит вода за кормом. Большая Медведица украшает ночные небеса огнем путеводным.

Первые три дня, проведенные в море, Ирина Павловна, как правило, жестоко страдала от качки и не могла мыться, – пресная вода шла только в пищу, а от забортной кожа покрывалась волдырями крапивной лихорадки. На третий день она уже освоилась с походной жизнью и вышла на палубу.

Первое, что ей бросилось в глаза, – это голые верхушки мачт. Шхуна шла только под нижними большими парусами, малые же оставались непоставленными.

– Аркаша, – обратилась она к штурману, – почему идем не под всеми парусами? Ведь так было бы гораздо быстрее...

Малявко взглянул на счетчик лага:

– Пятнадцать узлов, Ирина Павловна. Иные пароходы и то с такой скоростью не ходят. Это не шхуна, а... ракетный двигатель. Мне кажется, что ее построил гений, и Антип Денисович действительно гений. Не смейтесь! Я как-то объяснил ему основы астрономии, показал, как надо работать с секстантом, и он теперь сам берет высоты звезд, высчитывает азимуты. Это удивительный старик!

Кряхтя, взошел по трапу Сорокоумов. Ирина Павловна сразу уловила в нем какую-то перемену. Шкипер держался в море увереннее и строже. Но ее он называл по-прежнему дочкой.

– А-а, доченька, соленым ветерком подышать пришла, – приветливо сказал он. – Ну, ну, дело хорошее! Полюбуйся на воду-то! Я люблю на нее смотреть. Бежит и бежит себе. На воде мы рождаемся, в воде нас и погребут.

Искрящаяся шапка инея с шуршанием упала на мостик, рассыпавшись белыми цветами. Ирина Павловна подняла голову. Сколько там еще белых пушистых гнезд, и как это красиво!..

– Антип Денисович, чего же не все паруса ставим?

– Вот это мне, дочка, уже не нравится, – нахмурился шкипер, сердито закусив мундштук трубки. – Я эту шхуну, как колечко, слил, и знаю ее, словно дите родное. Не поднял верхних парусов – значит, так нужно. Я капитанствую над кораблем, а вы капитанствуйте над своими мелкоскопами и в мое хозяйство не лезьте...

Потом уже остановил женщину на палубе и примиряюще сказал:

– Ну-ну, не злись на старого хрена. Боюсь поднять паруса верхние. Вот прильни-ка ты, послухай...

Ирина Павловна прижалась к мачте ухом. Дерево жалобно стонало, откуда-то сверху доносился скрип, напоминающий плач ребенка. Шхуна была как живая.

– Все тебе мало, – обиженно сказал шкипер. – Где ты еще на пятнадцати узлах под парусами ходила? – И, наклонившись к Рябининой, добавил хриплым шепотом: – За всю свою жизнь я только раз поднял верхние паруса. И то когда шхуна была еще молодая. А сейчас боюсь: или она, или я не выдержим...

Так и не поняла ничего Ирина...

* * *

Время скользило по волнам вместе со шхунной. Одни дни казались медлительными и вялыми, как мертвая океанская зыбь, другие казались короткими и бурными, как крутые штормовые валы.

Подготовка к началу изысканий была проведена еще задолго до выхода в море. Сейчас научный состав экспедиции был свободен, и каждый занимался своим делом. В сутки шхуна лишь дважды приспускала паруса, когда ставились «станции», – на этих станциях брались пробы воды, опускался на глубину термометр, глубоководным сачком зачерпывали придонных животных. Зато молодые аспиранты – Стадухин и Галанина – вот уже несколько ночей подряд мерзли на палубе, наблюдая за формами свечения моря.

Шкипер прихварывал: жаловался на боль в голове, говорил, что ломит поясницу. С тех пор как берег скрылся за кормой, он бросил свои стариковские чудачества. Выражение паясничества исчезло с его лица, уступив место какой-то горделивой мудрости. Сорокоумов не давал болезни побороть себя, и через каждые полчаса его можно было видеть на мостике или в штурманской рубке. Иногда он здесь же и отдыхал, пристроившись на жестком диванчике, подложив под голову шапку. В такие минуты матрос, стоявший на руле, не сводил глаз с парусов и компаса. Антип Денисович каким-то чутьем угадывал малейшую ошибку в курсе, и тогда в иллюминаторе рубки показывалась его взлохмаченная голова.

– Эй ты, пастух, – кричал он, – ты что мне по воде свою фамилию пишешь – я ее и так знаю!.. Коров тебе пасти, а не шхуну вести!..

С молодым штурманом его сейчас связывала большая дружба. Она окрепла особенно после того, как Аркаша Малявко однажды самостоятельно всю ночь вел шхуну против ветра, лавируя на острых курсах и ловко справляясь со всей системой парусов.

– Вот это кормчий! – не раз говорил Сорокоумов в кают-компании. – Такому не только шхуну, но и жену бы доверил, кабы она была у меня...

День уходил у Рябиной на всевозможные заботы, составление сводок о результатах работы на станциях, чтение книг, которые она взяла в плавание. Радостными бывали дни, когда штурман приносил ей в каюту серый бланк радиogramмы с Большой земли. Прохор был, как всегда, краток и скуп. «Живы, здоровы, целуем», – сообщал он от себя и от сына.

Но такие дни случались редко. В океане – на воде, под водой и над водой – шла напряженная битва. Чистый горизонт был обманчив, в его пустынность никому не верилось. Повсюду таились минные ловушки, затаенно крались на глубине пиратские субмарины, даже здесь, далеко от коммуникаций, иногда пролетали самолеты.

Так проходили дни. И каждый раз Ирина Павловна, в нетерпении дождавшись вечера, стучалась в низенькую дверь шкиперской каюты. Сорокоумов встречал ее всегда празднично и радушно.

В смолёный борт тяжко хлюпала стылая океанская вода. Изредка в каюту через люк долетал с палубы голос впередсмотрящего: «Есть, смотрим!..» «Лампиада Керосиновна» (так в шутку звал шкипер керосиновую лампу) раскачивалась под потолком, бросая на окружающие предметы тусклые отсветы. Посасывая часто гаснущую фарфоровую носогрейку, Сорокоумов не спеша начинал рассказывать.

От древних сказаний про Вавилон Мурманский и Землю Гусиную он переходил к легендам о двух великанах братьях Колге и Жижге. А то вдруг затягивал надтреснутым голосом бывальщину о хождении поморов на Грумант или веселую скоморошину про Анфису Ягодницу Кемскую да про злобного гостя варяжского Эрика Собаку Рыжую...

Рябинину поражал язык, каким говорил в такие часы старый шкипер. Это был язык, не тронутый временем, не испорченный иностранщиной, – язык древнего Господина Великого Новгорода, под звон колоколов которого ушли когда-то предки Сорокоумова на север «поискати святой Софии новых пригородов-волостей».

Еще чему немало дивилась Ирина Павловна, так это обилию точных исторических сведений. Антип Денисович легко, почти не напрягая памяти, говорил ей, когда норманны разграбили побережье Гандвика, когда миссионеры уничтожили языческое «требище», когда на севере чеканили серебряную монету.

Иногда в каюту заходил штурман. Юноша за последнее время тоже полюбил умного и хитрого старика. Малявко садился куда-нибудь в угол, закуривал папиросу, и разговор постепенно приобретал характер воспоминаний. Штурман вспоминал годы учебы в мореходном арктическом училище, а шкипер – свои.

– Вот я поведаю вам, как меня в Кемском шкиперском училище навигацкому искусству вразумляли. Вместо педагогов учили нас соловецкие монахи, что от монастыря торговлю мирскую вели. Перво-наперво – молитва утренняя. На ней мы поминали Николу, святого угодника, хранителя морского люда, а потом хором только три аглицких слова пели: lead – лот, log – лаг и look out – наблюдать. Все три слова с буквы «люди» начинаются, и учили нас, что на этих трех буквах навигация строится. Измерь лотом глубину, измерь лагом скорость, смотри вперед по курсу – и нигде не пропадешь...

– А как же, Антип Денисович, находили свое место в море?

– А вот сейчас расскажу. – Он снова раскуривал погасшую носогрейку, и летопись давних дней продолжалась: – Берега северные мы с закрытыми глазами на память знавали. В старину наших кормщиков, когда экспедиции полярные затевались, даже в Академию наук вызывали рассказывать. Ну, компас, конечно, часы солнечные – мы ими испокон веков пользовались. Ночью, бывает, и без компаса, по одним звездам шли. Думаешь, дочка, по секстанту?.. Шиш-то! Это сейчас наука пришла к поморам, а в те времена посмотришь на небо, прикинешь этак правее луны на два лаптя – и катим, только пена за бортом свищет. А то еще и по воде умели определяться. Это уже когда вокруг, куда ни глянь, туман, голомя, океан на все четыре ветра...

– По цвету воды, что ли? – спрашивал штурман.

– Куда там, хуже бывало!.. Вот расставит монах перед нами кружки с водой морской и zaczyna лекцию читать: «Послухи мои, велико окиян-море Студеное. Как найдись нам, бедным, не знамо!.. Пейте воду, отроки, и спасет вас Бог. Эй, Антипка, подходи первым, глотай вон из эвтой кружки да ответ держи, с какого места вода сия взята?» Хлебнешь энту горечь и отвечаешь: от Святого Носа, мол, батюшка. А чуть что не так – и тебя же плеткой. Из полос моржовой шкуры свита – больно! Но зато пропади, кормчий, твои секстанты, так я тебе и сейчас по вкусу воды место наше узнаю. Так-то!..

Наконец вставал и уходил на мостик Малявко. Рябина тоже порывалась уйти, но шкипер каждый раз задерживал ее:

– Не торопись, умрем дак отоспимся. Я тебе еще чего ни на есть расскажу. Басню али песню каку... Меня за это еще мальчишкой Антип Денисовичем звали...

И только когда на палубе вахтенные отбивали четыре двойные склянки, он говорил:

– Ну, ладно, дочка, попила меду! Хватит! Завтра вставать рано, только одна заря счастье людское кует...

Однажды после такой затянувшейся беседы Ирина Павловна поднялась ночью на палубу. Ветер гудел в широких полотнищах парусов, невидимые во тьме

волны разбивались под форштевнем со звоном, точно стеклянные. Рябинина подошла к поручням и, напрягая зрение, всматривалась в ночную даль. Вдоль северной стороны горизонта поднималась тонкая жемчужно-белая полоска света. Это далеко, за сотни миль отсюда, начали ломаться, наползая друг на друга, гигантские ледяные поля.

Ирина Павловна услышала с кормы чей-то голос и тихо поднялась по трапу на шканцы. Накрывшись кожаным плащом, на бухте каната сидели Галанина и Юрий Стадухин. Девушка вполголоса читала стихи:

С полнощных стран встает заря:

Не солнце ль ставит там свой трон,

Не льдисты ль мещут огонь моря?

Се хладный пламень нас покрыл!

Се в ночь на землю день вступил!..

Песчинка, как в морских волнах,

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

- Эй, малый, стой! (нем.)

Виктория Михайловна Бакке известна сейчас в Норвегии как крупнейший музыкальный деятель страны.

Купить: https://tellnovel.com/ru/pikul-_valentin/oceanskiy-patrul-kniga-pervaya-askoldovcy-tom-2

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)